

Владислав ЕГОРОВ

ПАСХАЛЬНЫЕ ЯЙЦА

последние рассказы

Москва
Издательство «БПП»
2009

ЕГОРОВ
Владислав Викторович

ПАСХАЛЬНЫЕ ЯЙЦЫ

МОСКВА, Издательство «БПП», 2009. - с 204.

Книгу составили последние и лучшие рассказы автора, по праву возводящие его в ранг замечательных писателей земли русской.

© Издательство «БПП», 2009

КРЫША

Сумеречный рассказ

Черт знает, что на крышах делается! Зачесался большой палец правой ноги, протянул ее к горловине водосточной трубы, чтобы, потеряв о жестяную холодь, снять зуд, да тут и напоролся на осколок бутылочного стекла. О tempora! О mores! Уже на крышах стали распивать портвейн «Агдам», напиток в малых дозах мерзкий, но при обильном употреблении подтверждающий закон диалектики о переходе количества в качество. Давно учил, а вот помню, по сей день: три источника, три составные части...

Боли я не чувствую. Не дано. Однако вскрикнул — генная память сработала. Из пореза две капли крови выкатилось. Одну успел слизнуть, а другая, когда ногу стремительно ко рту подносил, сорвалась, запрыгала спелой брусничинкой по скату крыши и ринулась вниз с высоты 18 м 43 см, чтобы упасть точно на темечко головастика, что плыл себе мирно-спокойно в ленивом потоке грязной воды, равнодушно собирающей по пути окурки, обертки от мороженого и использованные презервативы. Почему жители столицы выбрасывают их из окон своих спален — разумного объяснения подобрать не могу.

Да, кстати, вообще умом не все понять можно. Вот сидим мы на крыше.

Я — о себе чуть позже, «эхо Чернобыля» — одноногий волкодав Дружок, убиенная рэкетирами продавщица цветов Мария Ивановна Петрова, выходец с престижного Новодевичьего, процветавший долгие годы на

скудной ниве современной философской мысли академик Ермак Тимофеевич Глистопадов и Лаврентий Павлович, фамилию которого я не намерен называть из принципиальных соображений.

Ну, со мной все явно. Надоели казенные стены. Серые, утомительные. Смотришь на них, смотришь — никаких признаков жизни, вся радость — вдруг новая трещинка появится где-то. Для примитивной природы и этого, конечно, достаточно, но я, грешен, все еще не прочь вкусить радость от переменчивости бытия.

— И когда ты угомонишься, Жоэль! — корит меня иногда Вадим Андреевич.

Корит беззлобно, для формы больше. Ему, бедолаге, в этой жизни понять смысл высшей истины, увы, не дано, но он в отличие от прочих не позволяет себе впадать из-за этого в свирепость, а напротив вооружается доброжелательством, и руки распускает лишь, в крайнем случае.

Безусловно, такой атрибут человеческого тщеславия как Доска Почета — чушь несусветная, и все же, проходя мимо нашей Доски, обрамленной выцветшим от времени, некогда ярко-алым лозунгом «Советская психиатрия — самая гуманная в мире», я каждый раз невольно отмечаю, что, если кто и висит на ней заслуженно, так это единственно Вадим Андреевич. Честно сказать, фотопортрет его сделан скверно, без малейшей даже попытки со стороны фотографа уловить проблески одухотворенности у клиента. Вот и выглядит Вадим Андреевич на Доске Почета этаким бесчувственным чурбаном с осоловелым взглядом. Впрочем, он, может, с

похмелья фотографировался — тогда свой упрек в адрес неизвестного мастера службы быта я снимаю.

И вот, надоело мне на безжизненные стены глаза лупить, я и решил по вечерам менять обстановку. Долго не раздумывал, куда податься, облюбовал крышу противоположного дома — меня крыши с детства манили, а эта выглядела очень даже уютно. Безусловно, я и не предполагал, что там кто-то уже обретается, однако встречен был приветливо, лишь одноногий (а может лучше — однолапый?) волкодав чуть поскулил недовольно, но, когда я пообещал ему косточку мозговую в следующий раз принести, оттаял и даже руку мне лизнул шершавым, как плакат, языком.

Чтоб ненароком не подвести добрейшего Вадима Андреевича, я предварительно его в известность поставил. Так, мол, и так, надоело казенное однообразие, после отбоя хочу небольшой променад совершить. Если вдруг понадобится, ищите меня вон на той крыше.

Думал, Вадим Андреевич возражать будет, ведь установленный режим никаких прогулок вне стен не предусматривает, но он на редкость спокойно отнесся к моему заявлению.

— А чего ж на крыше не посидеть? — протянул добродушно, потирая указательным пальцем правый висок.

— Раз очень хочется, какие могут быть возражения. Только прошу, пожалуйста, форточку за собой не забывай закрывать. Опять же соблюдай гигиену, СПИД, смотри, не подцепи.

Это он, понимать надо, пошутил. Юмор у него исключительно на сексуальных мотивах замешен.

Хотя, впрочем, когда я с Марусей — помните: Мария Ивановна Петрова, цветочница? — познакомился, то мысль такая мелькнула, а что, если и вправду Вадим Андреевич упомянул о СПИДе вполне серьезно и ответственно, в плане профилактического предупреждения.

Только представился я цветочнице, как она тут же глазки стала строить, а потом и напрямик предложила спуститься в подвал, где какой-то бомж, ранее там обитавший, оставил после себя очень даже пружинистый матрас.

— Как на качелях будем кататься, милай! — завлекла она меня.

Видно в бывшей, своей жизни мещанскими условностями Мария Ивановна особенно себя не связывала.

— Извините, дорогая, — чуть насмешливо объяснил я ей. — При всем желании никаких, как вы говорите, качелей у нас с вами не получится. Вы уже существуете в ином мире, а я тут у вас как бы в гостях. В принципе я обыкновенный живой человек, но только открылась во мне недавно такая уникальная природная способность в соседнее измерение заглядывать. Вот когда отойду, так сказать, окончательно и бесповоротно, может, снова встретимся и тогда уж разоведем наши отношения. А пока, вон Лаврентий Павлович или академик — чем не кавалеры?

— Что ж, вы думаете, я каждому-всякому на шею бросаюсь, — обиженно поджала губки Маруся. — Просто вы мне глянулись, а академик — он много из себя воображает, а этого в пенсне — как у вас и язык-то повернулся мне его предложить. Знали б вы, какими пакостями он по вечерам занимается.

Мне стало стыдно за свои слова, вернее за неуместный, как оказалось, их ехидный тон, и я смущенно зарделся. Но Маруся долго зла не помнила. Буквально через минуту она первой продолжила разговор.

— Ну, тады давайте просто дружить, — обрадовано, будто нашла единственно верный выход из трудного положения, предложила цветочница.

— А что вы вкладываете в понятие дружба? — деликатно поинтересовался я.

— Будя прикидываться? — погрозила мне пальчиком Маруся. — Гляжу, годков-то полвека, поди, прожил, и что, ни с кем не дружил? Ой, не верю!

— Может, и дружил, — с грустью вздохнул я, — да только вот припомнить не могу, с кем конкретно, и, в чем она эта дружба должна выражаться, тоже, честное слово, запамятовал. У меня, извините, рассеянный склероз. Недуг, как врачи утверждают, увы, необратимый.

— Ой, да не берите вы себе в голову эти болезни! — утешила меня Маруся. — Склероз нынче у каждого, и ничего, живут, бегают. А дружить, это я так предлагаю, чтобы мы по имени друг дружку звали: ты меня — Марусей, а я тебя...

— Жоэлем, — напомнил я.

— Ж-о-э-л-е-м, — напевно, будто смакуя звуки, произнесла Маруся. — Из армян, что ли? Да вроде не похож. А имя у тебя красивое, хоть и не христианское.

— Жоэль — это не имя, и не фамилия, — счел нужным объяснить я. — Это мой знак в здешнем мире.

— Ты — псих, что ли? — поинтересовалась она. — У меня был один такой. Как баловаться начнем, все просил «киской» его называть.

Она помолчала, видимо вспоминала другие мужские имена, что прошли через ее нескладную суматошную жизнь, потом тряхнула выбеленными перекисью кудрями, продолжила наставительно:

— А дружить, значит, станем так. Я тебе про свои переживания жизни буду говорить, а ты мне про свои. И чтоб с сочувствием слушать, а то и пожалеть друг дружку незазорно. А еще ты, какие анекдоты знаешь, мне рассказывай. А я, если попросишь, песенку спою. Я их сама придумываю. Только жалостливые они. Характер у меня задорный, а песни все грустные выходят. Вот послушай, какую вчера сочинила.

И, не дожидаясь моего согласия, она обхватила своими большими, видать познавшими тяжелую работу ручищами толстые коленки, склонила набок голову и, покачивая ею, низким грудным голосом запела:

Ой-да, ты, свет-матушка,
Ой-да, расскажи, ты, мне,
Ой-да, про судьбу мою,
Ой-да, горемычную.
Ой-да, нету счастья,
Ой-да, у меня совсем,
Ой-да, ни пригоршеньки,
Ой-да, ни глоточечка.
Ой-да, укажи мне путь,
Ой-да, где его искать.
Ой-да, побегу бегом,
Ой-да, поползу ползком.

Ой-да, ты, свет-доченька,
Ой-да, нет те счастья,
Ой-да, только черный крест,
Ой-да, средь белых снегов.

Пела Маруся, как говорится, с чувством, находя в каждой фразе заветное слово и растягивая его беспредельно, поначалу с силой, а потом все тише, слабее — так, представляю я, тянут золотую проволоку для скани.

— Недурственно у вас, получается, — снисходительно похлопал цветочницу по плечу академик Глистопадов, когда Маруся закончила свою песню.

Я и не заметил, как он возник. Вот уж точно загадка природы! Редкий болван, а сподобился Новодевичьего. Не иначе, как по блату. Он долгое время в референтах подвизался у того самого головастика, которого я кровью своей отметил. Уверен, большинство читателей наивно полагает, что головастик — одна из стадий развития лягушки и только. Между тем среди них попадаются столь юркие и пронырливые особи, что при благоприятном расположении звезд им удается выбиться в люди и даже достичь вершинных государственных должностей.

Ермак Тимофеевич Глистопадов, завершивший свой жизненный путь в возрасте шестидесяти лет ровно, был среднего роста, поджар, имел неприметную физиономию, разве, что всегда румяную, и отличался редкой болтливостью. Кстати, дух свой он испустил, подавившись никак не желавшей закончиться фразой, когда произносил ответный тост на собственном юбилее. Подобно заезженной долгоиграющей пластинке, из вече-

ра в вечер возвращался он к одним и тем же сюжетам из своей многотрудной философской жизни.

— Ваша песня, уважаемая коллега по крыше, — он посмотрел на Марусю отсутствующим оловянным взглядом, — вернула меня в годы моего мировоззренческого мужания. Именно тогда в поисках гуманистического идеала я самозабвенно — ах, каким я был романтиком! — ползал, по вашему определению, ползком. Вот именно: ползком! И что же?! Сейчас находятся так называемые деятели науки, я их, подлецов, наперечет знаю, которые упрекают меня, что я в болотное время не только никак не пострадал, но и академические регалии получил. Ограниченные мерзавцы! Мордовороты! Ушкуйники от исторического материализма! Им ли понять истинного философа, который — да! — ползает, но и страдает. Я ползал и страдал. Я ползал, страдая, и страдал, ползая. Именно тогда я пришел к выводу, может, это главное, что я сделал в своей научной жизни, что ползание — наилучший способ самовыражения. И не надо тыкать мне горьковским ужом. Своего ужа Алексей Максимович ради красного словца выдумал, правильно его обратно в Нижний Новгород переименовали, я же свое открытие выстрадал. А они, зас...

Тут академик от гнева по адресу здравствующих оппонентов поперхнулся, и вместо окончания слова, долженствовавшего охарактеризовать их наиболее кратко и емко, полетели из его широко разверстых уст брызги слюны, размером каждая с хорошую фасолину.

Маруся, милая бедная Маруся, которая только что мечтала о любви и счастье и была воплощением животворного Женского Начала — основы основ всего суще-

го в любом из миров, сидела теперь нескладным кулем и тарасила испуганные глаза на вошедшего в раж философа.

«Чего это он раздухарился? — сокрушенно думала она. — Может, песня моя его раззадорила, ишь как злобой пышет. Конечно, ученый человек, не мне, дурехе, его судить, а только, если родился злыднем, то потом, хоть академиком, хоть генералом тебя назначат, а злыднем так и останешься. Зарплату, поди, платили ему немаленькую, так пил бы себе на здоровье коньячок, рыбкой красной закусывал и зла ни на кого не держал. А уж сейчас, когда отошел, и вовсе грех»...

— Лимита несчастная! — заорал вдруг Глистопадов, прочитав нехитрые Марусины мысли. — Ты и сметь не должна обо мне судить. Я уже в 1960 году в Советский энциклопедический словарь попал, ранг бессмертия тем самым получив, а ты, стерва, осмеливаешься вокруг моей личности социальную демагогию разводить! Спекулянтка! Трудовому народу ворованные гвоздики по баснословным ценам сбывала!..

У кого-то может закрасться сомнение, а не свожу ли я личные счета с философом, выставляя его откровенным хамом и, можно сказать, даже подонком, раз он позволяет себе так говорить с женщиной? Что ж, личный момент, безусловно, присутствует. Когда Глистопадов во гневе слюной поперхнулся, одна брызга попала на полу моей любимой пижамной куртки производства Польской Республики, когда та еще Народной называлась, и прожгла в ней дырку, так что мне пришлось потом Вадиму Андреевичу врать, что это я по рассеянности сигаретой прожег. Он, деликатная натура,

сделал, вид, будто поверил, хотя знал преотлично, что я бросил курить, как только на сигаретных пачках появились заботливые слова: «Минздрав предупреждает: курение опасно для вашего здоровья». Я всегда был лоялен к официальным установлениям, и посему данной рекомендации последовал незамедлительно. Но это так, кстати.

Еще одна глистопадовская брызга слюны попала на единственную ляжку чернобыльского волкодава и тоже отметину оставила. Впоследствии Маруся, несмотря на свою природную жалостливость, гладила Дружка с опаской, сомневаясь, не от стригущего ли лишая у него эта проплешина,

Волкодав, обоженный философической слюной, взвизгнул и отполз подальше от академика. Тот с интересом наблюдал за конвульсивными телодвижениями несчастного пса — жалкое зрелище являло собой в тот момент благородное животное, волей рока принужденное уподобиться твари ползучей.

— Видите, олухи! — с торжеством воскликнул Глистопадов. — Понадобилась ядерная катастрофа, чтобы радиация явила миру этого мутанта, который куда как более убедительно доказывает, что именно ползание — оптимальная форма движения любой белковой материи, адекватная ее сущностной основе.

Надо отдать ему должное, академик современной терминологией владел отменно. Маруся, так та, услышав последнюю фразу, даже рот открыла, а Лаврентий Павлович, только что примкнувший к нам, видимо, привлеченный громогласными разглагольствованиями

темпераментного философа, потер пухленькие ручки и одобрительно сказал:

— Занятные слова!

Глистопадов горделиво посмотрел на Марусю, потом на меня, и его румяное личико передернула довольная осклабина — да простится мне этот неологизм, но милое понятие «улыбка» к его физиономии, увы, категорически не подходило.

Безобразная сцена с оскорблениями, которые касались не только Маруси, но и меня лично, «олуха»-то я должен был принять на свой счет, конечно же, требовала вклеить академику пощечину, но я не мог этого сделать, ибо легкомысленно дал обещание Вадиму Андреевичу, что во время своих вечерних самостоятельных прогулок буду неукоснительно придерживаться учения Льва Николаевича Толстого о непротивлении злу насилем. Маруся же — о, непредсказуемая женская натура! — увидев, что философ вроде смягчился, сказала примирительно:

— А Дружок, Ермак Тимофеевич, он и скакать умеет на одной ножке, только крыша-то покатаая, склизкая, вот он, видать, и опасается.

Философ снисходительно улыбнулся. (Черт с ним, буду применительно к нему писать все-таки «улыбнулся», так сподручнее, а вы при этом представляйте ту самую мерзкую осклабину). Подбодренная улыбкой, Маруся позволила себе вступить в разговор с ученым мужем.

— Я, конечно, понимаю, что я вам не ровня, Ермак Тимофеевич, — чуть обиженно и в то же время заискивающе начала она, — а все одно огорчение, что вы меня

лимитой обозвали и будто я спекулировала. По моей видимости, конечно, сразу определишь, что я деревенская, дык я и не отказываюсь, только уж двадцать три годочка в Москве прожила. Когда сюда перебралась, было мне девятнадцать, теперь дочке столько. Она у меня путевая, замужем, а мне, ишь, не повезло. Мушчинов много перелюбила, а сама по-настоящему так никому и не глянулась. А работать я, товарищ академик, наработалась в досталь. И в колхозе еще девчонкой совсем, и в Москве на строительстве двадцать лет штукатуром отгрохала. Так что, ошиблись вы, я сама и есть трудовой народ. А что жизнь закончила, цветами торгуя, так это ж власть призывала всячески развивать малый бизнес. Я коечку в своей однокомнатной сдавала Рустамчику, вот он меня со стройки-то и сманил в торговлю. Чего уж таить, деньжат стала куда больше приносить, чем со штукатурского заработка, только, ишь, не принесли счастья мне эти денежки. Ой-да, и зачем я на них позарилась...

Последнюю фразу Маруся произнесла речитативом, так что у меня возникло предположение, а не собирается ли она затянуть свою новую песню. Но, если и было у нее такое намерение, то ему не дал осуществиться Лаврентий Павлович.

— Женщина! — неожиданно по-современному обратился он к ней. — Утрите слезы и помолчите. Я желаю беседовать с философом.

Маруся обиженно поджала губки и отсела к Дружку. Что-то, пришептывая, она стала поглаживать его, а одноногий волкодав благодарно поскуливал в ответ на ласку.

Меж тем Лаврентий Павлович снял пенсне и, протирая его платочком, тихим вкрадчивым голосом произнес:

— Поздравляю, гражданин академик! Ваши воззрения совпадают с нашими принципиальными установками. Э-э, не смущайтесь, что называю вас гражданином, профессиональная, понимаете, привычка...

— Хоть горшком назовите, Лаврентий Павлович, только в печку не ставьте, — угодливо пошутил Глистопадов.

— М-да... — кольнул академика острым взглядом Лаврентий Павлович, — язычок у вас неаккуратно подвешен. Спишем это на издержки дозволенной нынче гласности, но по-отечески замечу, что печки, на которые вы намекнули, — это изобретение нацистов, и ничего такого похожего в нашей системе не существовало.

Довольно мягкая, на мой взгляд, укоризна Лаврентия Павловича подействовала на философа ошеломляюще. Он вытянулся во фронт и дрожащим тенорком, кастаньетно стуча челюстями, проблеял:

— Ви... ви... но... ват! Бо... боль... ше... ше... не... бу... бу... ду...

Поначалу такой резкий перепад в поведении Ермака Тимофеевича Глистопадова — от наглого хамства, с которым он ни за что, ни про что отчитывал бедную цветочницу, до явленного сейчас подобострастного испуга, искренность которого не вызывала сомнений, — показался мне неестественным, психологически вроде бы не оправданным, но по недолгом размышлении я пришел к выводу, что ничего странного тут нет и с психологией как раз все в порядке, ибо давно уже замече-

но, что хамы по натуре своей отъявленные трусы. Они вроде того молодца, который молодцом-то выглядит, лишь вступая в конфликт с овцами.

— Ну, вы уж так сильно не робейте! — развел пухлые ручки Лаврентий Павлович, — Я вас не съем. Это меня людоедом современные горе-историки выставляют, а я разве что и позволял себе иногда, так это женские груди пожевать и не больше. Такое занятие, согласитесь, относится к пристрастиям исключительно чувственного порядка, но никак не политического. К тому же я давно уже перешел на синтетические образцы. Бойцы невидимого фронта закупают их в странах, где уже свершилась сексуальная революция, и по надежным каналам переправляют мне. Особенно, замечу, хороши бюсты датского производства.

Лаврентий Павлович плотоядно причмокнул тоненькими губками, и взор его увлажнился.

Философ, приняв указание «не робеть» к исполнению, воспользовался первой же паузой. Предварительно хихикнув в ладошку, он склонился в полупоклоне и громко прошептал:

— Извините, незабвенный Лаврентий Павлович, что осмеливаюсь советовать, но попробуйте пожевать немножко, а потом пивцом запить. Очень недурственно получается.

— А вы, оказывается, извращенец к тому же, — беззлобно и даже, как показалось мне, с некоторым одобрением протянул Лаврентий Павлович. — Зря я к вам с недоверием поначалу отнесся. Имя ваше смутило — гордыней, знаете ли, от него попахивает. С чего это ваши родители его выбрали?

— Поверьте, все очень просто! — широко заулыбался Глистопадов, — Папаша у меня — Тимофей, следовательно, в плане закрепления народно-революционных традиций сына следовало Степаном назвать в честь известного средневекового экспроприатора или вот Ермаком — в память освободителя коренных народов Западной Сибири от угнетения ханом Кучумом.

Так что, как видите, выбор имен был у родителей моих весьма ограничен.

— Логично! — одобрительно кивнул Лаврентий Павлович.

— А я чегой-то не понимаю, — конфузясь от своей непонятливости, сказала Маруся. — Почему энтэ, Ермак Тимофеевич, ваши папаня с маманей не могли вас окрестить, к примеру, Иваном?

— Потому, — снисходительно усмехнулся философ, — что, как я уже отметил выше, звали моего папу Тимофеем, а вот был бы он Василием, тогда, безусловно, и сына следовало бы ему назвать Иваном в честь, конечно же, Иоанна Грозного. Если продолжить этот логический ряд, то у каждого Виссариона сын обязан быть Иосифом, а у Павла... — Тут Глистопадов сделал небольшую, но многозначительную паузу, и слегка склонил голову, умудряясь в то же время ласкать преданным взглядом Лаврентия Павловича. — А у каждого Павла всенепременно Лаврентием.

— Ну-ну-ну! — погрозил ему сарделечным пальчиком Лаврентий Павлович. — Я льстецов ценю, но потоньше надо это делать.

— Тоньше, честное слово, не могу, — прижал правую руку к груди и снова поклонился Глистопадов.

— Тогда придется принять вашу лесть в голом виде, — пошутил Лаврентий Павлович,

Тут Маруся, смешливая по природе, не выдержала, прыснула:

— В голом виде! Ой, Лаврентий Павлович, вы прям, уморить можете.

— Могу! — серьезно сказал Лаврентий Павлович, и стекла его пенсне на мгновение стали багровыми. — Могу, но не буду. Потому что благодарности все равно не дожدهшься. Вот вы, академик, не без тщеславия заявили, что попали в Советский энциклопедический словарь и тем самым обессмертились, а меня ведь законного бессмертия лишить пытались. Полюбуйтесь-ка на этот образчик человеческой глупости.

Лаврентий Павлович полез в нагрудный карман кителя — а одет он был в маршальскую форму, только со споротыми погонами и лампасами и без каких бы то ни было наград, коих его специальным указом лишил Президиум Верховного Совета СССР, так что не каждый бы и догадался, что надет на нем маршальский мундир, — и вытащил небольшой пожелтевший листочек, сложенный вдвое. Он развернул его, аккуратно разгладил и, вручая Глистопадову, сказал со вздохом:

— Вслух не читайте, мне это будет больно, а передайте по кругу.

Философ читал так долго, что у меня невольно закралось сомнение, а обучен ли он вообще грамоте, но, наконец, оторвал глаза от листочка и, вздохнув, гораздо, глубже Лаврентия Павловича, передал мне этот до-

кумент, как уже можно было догадаться, представляющий несомненный исторический интерес. На листочке был напечатан следующий текст:

Подписчику «Большой Советской Энциклопедии». Государственное научное издательство «Большая Советская Энциклопедия» рекомендует изъять из 5 тома БСЭ 21, 22, 23 и 24 страницы, а также портрет, вклеенный между 22 и 23 страницами, взамен которых Вам высылаются страницы с новым текстом.

Ножницами или бритвенным лезвием следует резать указанные страницы, сохранив близ корешка поля, к которым приклеить новые страницы.

Государственное научное издательство «Большая Советская Энциклопедия».

Маруся читать эту рекомендацию решительно отказалась.

— Ой, да зачем это мне?! — отстранила она мою протянутую с листочком руку. — Я и так вам всем доверяю, вы люди образованные, а я еще чего не так пойму, как на самом деле написано, вот, скажете, дура дурой, а мы еще с ней компанию водим.

Когда я заветный документик Лаврентия Павловича обратно Глистопадову передавал, понял по его виду, что четыре указанные страницы и портрет, между ними вклеенный отрезал он не ножницами, а бритвочкой, да еще линейку прикладывал, чтоб ровнее было. Отрезал не просто с послушанием, а с радостью, ибо уже в те молодые годы рассчитывал на упоминание своего имени в энциклопедических изданиях, а попасть туда, как он не без основания полагал, будет, конечно, тем проще, чем больше других имен оттуда изымут,

— Ну, что вы скажете? — спросил Лаврентий Павлович, аккуратно сложив листок вдвое и осторожно уместив его на прежнее место — в нагрудный карман маршальского кителя. Впрочем, я точно не знаю, есть ли у маршальских кителей нагрудные карманы, — какого маршала ни возьми, эта часть мундира у него обязательно орденами завешана, поди, догадайся, есть под ними карман или нет — а у лаврентияпавлычева кителя карманы были, так что, может, и вовсе не маршальскую форму он носил, а просто стилизованный костюм милитаристски зеленого цвета. Но вот, что касается лампас, они точно были спороты. Лаврентий Павлович оставшиеся ниточки из швов время от времени выдергивал, клал задумчиво на ладошку и сдувал в густые московские сумерки.

Адресованный нам вопрос остался без ответа. Коварство солидного научного издательства, сначала щедро обессмертившего человека — как-никак четыре страницы убористого текста да еще портрет! — Людвигу ван Бетховену в том же томе отведено было меньше места, не говоря уже о Гекторе Берлиозе, — а затем попытавшегося низвергнуть его в черную пустоту забвения, конечно же, требовало осуждения. Но мы знали, что попытка стереть из памяти народной имя Лаврентия Павловича явно не удалась, и это обстоятельство всех нас, включая и одноногого волкодава, заставило задуматься о вечном, о том, что бесстрастная история с одинаковым равнодушием заносит на свои скрижали имена отъявленных мерзавцев и добрых гениев, и первых даже, кажется, набирается больше, о том, наконец,

можно ли вообще провести границу между добром и злом...

На небе одна за другой зажигались звезды, черной кошкой неслышно подкрадывалась ночь, умиротворение нисходило на огромный и бестолковый город, населенный доживающими свой век палачами и их жертвами, их детьми, их внуками и правнуками, меж которыми уже заключались все новые и новые браки, ибо, если бы внуки и правнуки палачей брали в жены исключительно девиц палаческого рода, а потомки жертв женились на себе подобных, то славный и красивый народ неминуемо бы выродился. Но этого не случилось и не случится впредь, ибо царствует во Вселенной незыблемый и вечный Закон о единстве и любви противоположностей.

Долго мы сидели в безмолвии, думая о светлых минутах детства и о подлостях, которые совершали, взрослея, и тихие слезы раскаяния струились по нашим щекам. Даже Глистопадов, озверевший от своих бесплодных философических потуг, шмыгнул два раза носом. И когда зажглась на западе полуночная звезда Мандрагора, под оранжевым светом которой рождаются убийцы и поэты, Лаврентий Павлович снял пенсне и голосом ровным и спокойным спросил, обращаясь к Космосу:

— Неужели люди на самом деле считают, что я самый большой злодей на свете?

И Маруся, простая душа, решив, что риторический этот вопрос обращен к нам, откликнулась тотчас, будто за язык ее кто тянул:

— А как же по-другому считать, Лаврентий Павлович? И в газетах давно про вас такое печатают и по телевизору стали передавать. Ученые люди, а чего ж им не верить, им за ученость большие деньги платят, так они говорят, что такого злыдня, как вы, еще не было на Руси.

— По последним данным, Лаврентий Павлович, — подобострастно, но с затаенным злорадством прошептал, а точнее — прошипел философ, — на вашу личную совесть приходится восемьсот сорок шесть тысяч двести пятьдесят три расстрелянных, два миллиона девяносто тысяч сто пятнадцать умерших от голода, увечий и болезней в лагерях, пять тысяч триста девять убитых при попытках к бегству и две тысячи четыреста пятьдесят семь самоубийц,

— Последнюю категорию лиц я решительно отвергаю, — твердо сказал Лаврентий Павлович и, протирая оранжевые стеклышки пенсне платочком, перешел на раздумчивый тон. — Строго говоря, на моей совести нет ни секунды чьей-либо жизни, ни тем более капли крови. В детстве, помню, кошка поймала мышонка и стала играть с ним, прежде чем съесть. У кошек, знаете, такой садизм в обычае. Мышонка парализовал страх. Я отнял его у кошки и даже наподдал ей ногой, когда она стала жалобно клянчить, чтобы я вернул ей добычу. А мышонка положил за пазуху, и когда он пришел в себя и зашевелился, я отнес его к сараю, где по рассказам бабушки было мышинное гнездо, и выпустил на волю...

Тут взор у Лаврентия Павловича увлажнился. Впрочем, уже наступившая ночь была, несмотря на обилие звезд, достаточно темной, так что эту деталь я, можно

сказать, домыслил на основании того, что он промокнул глаза платочком.

— Да, граждане, — потирая пухлые ручонки, продолжил Лаврентий Павлович, и в голосе его послышалась некоторая насмешливость, — глупо и безнравственно приписывать мне то, что совершали другие. Вы скажете, убивает судья, а не исполнитель приговора. А я скажу: нет и еще раз нет! Я полагаю, вы должны признать мою компетентность в данном вопросе, так вот, никто, никакое начальство, никакая высшая сила не могут заставить человека стать палачом, если только он сам этого не пожелает! А он, хорошенький мой, желает, да еще как желает! И не убеждайте меня, что это он от голода за миску баланды соглашается уничтожить себе подобных. Миска баланды — не аргумент, когда речь идет о человеке, существе, обладающем душой. Значит, есть что-то посильнее этой пресловутой души, или в самой душе заложена некая внутренняя потребность палачества, порой весьма потаенная. Не каждый, правда, успевает ее реализовать, обстоятельства не для всех складываются благоприятно, но каждый, подчеркиваю, каждый пусть в мыслях, мечтаниях, во сне, наконец, хоть однажды да был убийцей. Признайтесь, академик, — Лаврентий Павлович повернулся к Глистопадову, и лунный безжизненный свет прожекторными лучами отскочил от стекол его пенсне, — признайтесь, ведь вам хотелось физически уничтожить наиболее ярых своих оппонентов?

— Мне хотелось их придушить! — мечтательно произнес философ и сглотнул слюну.

— Вот видите, женщина, — снова по-современному обратился Лаврентий Павлович к Марусе, — ученый человек, а вы, вижу, ученым доверяете, подтверждает мою правоту,

— И ничего не подтверждает! — с неожиданной горячностью возразила цветочница. — Ишь, какой вы хитрый, всех хотите с собою сравнять. Мало ли кому что во сне привидится, а на вашей совести, Ермак же Тимофеевич перечислил, миллионы погубленных душ.

— Эх, женщина-женщина! — беззлобно вздохнул Лаврентий Павлович. — Все эмоциями живете. Неужели недоступно вашему пониманию, что степень злодейства, которая индивиду присуща, измеряется отнюдь не количественными показателями, а лишь состоянием его души? А посему смиренный монах, всю жизнь проводивший за молитвами в каких-нибудь пещерах, может оказаться в глубинной сути своей злодеем большим, чем простой бесхитростный чекист, что выволок его за ушко да на солнышко, да и стукнул пару раз рукояткой маузера по темечку. И это истинно так, ибо чекист свято верил, что добро делает, освобождая мир от проповедника опиума, а монах против естественного хода вещей шел, пытаясь подавить в себе то, что Высшей Силой в каждого заложено.

— Святых старцев, Лаврентий Павлович, зачем трогаете? — осуждающе покачала головой Маруся. — Вы, конечно, большие посты занимали, а только я ни в жисть не поверю, что на простом каком человеке, пусть даже разбойником-убийцей он был, больше грехов смертных, чем на вас.

— А ведь это очень просто можно установить, — добродушно улыбнулся Лаврентий Павлович, но мертвящий лунный свет придал его улыбке зловещий характер. — Если положить на одну чашу весов истории все приписываемые мне злодеяния, их здесь пунктуально перечислил гражданин Глистопадов, а на другую вот этот документик.

Тут последовала пауза, потому что Лаврентий Павлович теперь уже из правого нагрудного кармана своего кителя (наверное, все-таки маршальского, ибо в этом звании он покинул мир земной) осторожно вытащил другой листок, тоже пожелтевший от времени, но на сей раз из обыкновенной школьной тетрадки в клеточку и сложенный вчетверо. Пухленькие пальчики любовно разгладили его, и Лаврентий Павлович, облизнув губки, продолжил:

— Так вот, граждане, этот документик перевесит все мои грехи.

— Гм-гм, — недоверчиво произнес философ, — разрешите полюбопытствовать, что же в нем заключено?

Лаврентий Павлович с брезгливой ухмылкой отрицательно покачал головой:

— Нет, этот документ я сам оглашу. Он мне дороже всего на свете. Потому как такой грех содержит, что все мои прегрешения детскими шалостями вам покажутся.

— Так, не томите, читайте! — вконец заинтригованный поторопил Глистопадов.

Лаврентий Павлович прокашлялся, поправил пенсне и торжественным голосом, будто на трибуне находится, прочитал следующий текст:

«Старшему уполномоченному НКВД товарищу Яну Яновичу Струминьшу заявление от кандидата в члены ВКП (б) жителя деревни Веселые Ключи колхозника Смирнова Андрея Никифоровича на жительницу нашей деревни Евдокию Прохорову. Как вы давали нам разъяснения, что надо усилить борьбу с кулацким элементом и выявлять их подпевал-подкулачников, которые стоят шлагбаумом на дороге к светлой жизни, то я, как полгода назад подавший заявление в сталинскую партию большевиков, а чтобы точно — через неделю после зимнего Николы, то есть 26 декабря, вам доношу, что в нашей деревне, как я уже указал, Веселые Ключи, ведет агитацию против колхозного строя Прохорова Евдокия. Хотя она и записалась вместе с отцом в колхоз, а мать у нее в прошлом году померла, и трудодни выработывает, но по настроению и разговорам является чистым кулацким элементом, хотя лошади у них не было, только корова, и считались они как середняки. Эта Евдокия, когда корова вчерась подохла от нутряной болезни, говорила бабам, что корову ей жальче, чем весь колхоз, пропади он пропадом. А еще жалела она попа нашего батюшку Афанасия, которого за зловредную пропаганду, чтоб народ был вечно в темноте, как раз на Рождество, то есть 7 января, арестовал товарищ уполномоченный Свиридонов. Их же, попов, как вы правильно объясняли, согласно указаниям главного нашего безбожника товарища Емельяна Ярославского надо давить как клопов, а Прохорова Евдокия крест нательный носит, в чем я самолично убедился. Такому отсталому кулацкому элементу как Прохорова Евдокия не место в нашем колхозе, который прозывается славным именем

боевого наркома товарища Ворошилова. К сему Андрей Никифорович Смирнов».

Подозреваю, что текст этого доноса был помощниками Лаврентия Павловича по литературной части для большей достоверности отредактирован и стилизован под простецкую народную речь, долженствующую убедить читателя, что слова идут от самого сердца. И все же изначальная подлинность документа сомнений не вызывала. Только что в нем особенного? Обыкновенный образчик человеческой низости и подлости. То, о чем я подумал, вслух выразил Глистопадов:

— Непонятно, Лаврентий Павлович, почему вы даете такую высокую оценку этому сочинению? Весьма банальный донос.

— Хе-хе-хе, — попеременно одна другой поглаживая пухлые свои ладошки, захихикал довольный Лаврентий Павлович. — Банальный, говорите? А вот положить бы его сейчас на те самые весы, убедились бы, какой он тяжести неподъемной...

— Так вам что, весы требуются? — радостно удивилась Маруся. — Погодьте чуток, я мигом обернусь.

И точно, мига не прошло, а она уже вернулась с весами — тяжеленными, облупленно-зелеными, с оловянными покореженными чашками, и тут же стала устанавливать их, что на покатой крыше казалось делом невозможным. Но Маруся сноровисто ворочала допотопный механизм, подкладывала под него какие-то кирпичики, дощечки, так что еще через миг чугунные клювики встали ровнехонько друг против друга.

— Как в аптеке будет, — удовлетворенно подытожила результаты своих трудов Маруся и сочла нужным

пояснить. — А как вы про весы заговорили, я и вспомнила. Цветами-то я тут неподалеку торговала, а рядом овощная палатка, там Клавдия работала, ну, вроде, подружки мы стали, обедали вместе, она ко мне с доверием, показала на всякий случай, где ключ хоронит. Ну вот, я ейные весы и одолжила. Думаю, вы быстро управитесь.

— Что ж, весы, вижу, точные, — сказал Лаврентий Павлович, — так что можно приступать к эксперименту.

И он аккуратно положил донос Андрея Никифоровича Смирнова на ближнюю к себе чашку весов. Та резко осела до крайнего нижнего предела, будто поставили на нее пудовую гирю, а другая стремительно вознеслась вверх и жалобно задрезжала.

Лаврентий Павлович, победоносно улыбаясь, поглядывал на нас.

— Для чистоты эксперимента все-таки просил бы вас, Лаврентий Павлович, пояснить, в чем же заключена сила тяжести этого документа? — умоляюще произнес философ.

— У нас нет тайн от народа, — добродушно ответил Лаврентий Павлович. — Тяжесть этой бумажки объясняется очень просто. Написавший донос человек не просто обрек на мучения и смерть другого человека, обрек по своей воле, без всяких просьб и указаний свыше. Он предал Любовь — источник всего сущего в этом мире. Ведь Евдокия Прохорова, Дуся, Дунечка — как он ее называл в жаркие июльские ночи, наполненные дурманящим запахом свежего сена и убаюкивающим стрекотаньем кузнечиков, — она любила Андрея Смирнова и, не задумываясь, отдавала ему и тело и ду-

шу. Кстати, и крестик ее нательный обнаружил Андрей, когда поцарапал слегка подбородок, целуя ее жаждущие ласки груди...

Прерву на мгновение монолог Лаврентия Павловича, чтобы заметить, что патетика и сентиментальность, как правило, свойственны негодьям государственного масштаба. Дальше, надо признать, он несколько умерил пыл:

— Да, граждане, один грех неизвестного ни мне, ни вам Андрея Никифоровича Смирнова, перекрывает все мои прегрешения, ибо я лично никогда не предавал ни любящих, ни любимых. Правда, их у меня и не было, но это уже особый разговор. Ну, а теперь давайте положим на другую чашу весов то, что, как выразился академик, должно лежать на моей совести.

Лаврентий Павлович щелкнул два раза пальчиками. Несмотря на свою пухлость, издали они резкий деревянный треск, и тотчас рядом с ним оказались два коренастых крепыша в синих гимнастёрках, перепоясанных ремнями, в галифе и сапогах, на которых, не понимая серьезности момента, стали резвиться лунные зайчики. Видимо, уже зная свои обязанности, крепыши, не мешкая, стали накладывать на другую чашку весов картонные канцелярские папки поблекших цветов, кои заключали в себе дела тех, кого отправил в мир иной этот круглый человечек в старомодном пенсне. Некоторые папки были тощенькие, с двумя-тремя листочками внутри, другие же так набухли от крови и слез, что пришлось их перетягивать шпагатом.

Сначала бойцы невидимого фронта клали на весы по одной-две папки, потом сразу по десять-двадцать,

но ничего не менялось — клювик той чашки, где лежал донос колхозника Смирнова на любившую его Дусю, был скорбно опущен вниз, другой же, призванный зафиксировать тяжесть прегрешений Лаврентия Павловича, гордо вздернут вверх. И даже когда один из крепышей, более плечистый и с более стертым лицом, навалил на чашку сразу один миллион двести тысяч тридцать семь дел, весы не шелохнулись.

Менее плечистый, но, видимо, старший по должности, вскинул руку к козырьку фуражки:

— Ваше задание выполнено, товарищ ...! — Он назвал фамилию Лаврентия Павловича, которую я решил не упоминать, чтобы не отвлекать на нее внимание читателей.

Лаврентий Павлович кинул на нас орлиный взгляд и нарочито строго спросил бойца невидимого фронта:

— А случайно ничего по дороге не обронили?

— Никак нет! — отчеканил старший крепыш.

И тут неожиданно весы пришли в движение. Сначала чуть заметно, а затем все явственней чашка с картонными папками стала опускаться, а та, на которой лежал листок с доносом Андрея Смирнова, радостно позвенькивая, устремилась вверх.

Оцепенев, наблюдали мы за необъяснимым поведением весов. Чекисты, опасаясь гнева своего начальника, втянули головы в плечи, отчего стали совсем квадратными. У Лаврентия Павловича вид был обиженно-недоумевающий, как у человека, которому влепили звонкую пощечину. Глистопадов замер с открытым ртом и выпученными глазами. Маруся, стоявшая ближе всех к весам, низко склонила голову. Только Дружок,

равнодушный к людским страстям, тихо подвывал на тающую в небе луну.

Долгожданное умиротворение наполнило мою душу. Но, увы, совсем недолго длилось оно. Еще раз ненароком взглянув на Марусю, я увидел, что мизинчик ее правой руки лежит на той чашке весов, что заполнена была картонными папками. Эх, Маруся-Маруся, чистая душа! По своему разумению утверждая добро, она воспользовалась маленькой хитростью, подсмотренной у подружки своей Клавдии.

Не знаю, хватило бы у меня совести раскрыть этот обман, но тут неожиданный порыв ветра сдул с весов листок с доносом Андрея Никифоровича Смирнова. Ринулся за ним один из чекистов, да поскользнулся на покато́й крыше и, выматерившись, прекратил попытку его поймать. Листок плавно опустился в грязный ручеек, текущий вдоль дома, и равнодушная вода быстренько смыла выцветшее свидетельство человеческого падения.

... Одна за другой тонули в белесом небе звезды. Последней, испустив короткий оранжевый вскрик, канула в космос звезда поэтов и убийц Мандрагора. На город, забывшийся в тяжелом сне, неотвратимо надвигался серый рассвет.

ОКТЯБРЕНОК

В восемь утра, еще Алексей Степанович яичницу не успел доесть, позвонил дежурный по городу и сообщил, что в поселке Заречном, улица Гагарина, дом пять, некий Русаков Иван Андреевич наложил на себя руки. Проще говоря, повесился. Дежурный позвонил домой, а не стал дожидаться начала работы, потому как знал, что делом этим все равно придется заниматься следовательно Корзухину, его специализация, а улица Гагарина от Алексея Степановича в пяти минутах ходьбы, только мост перейти, так что ему из дома будет сподручней, чем переть в центр, а потом оттуда фактически возвращаться обратно, причем, вернее всего автобусом — с бензином напряженка, и машину начальство вряд ли даст.

Алексей Степанович резоны дежурного признал убедительными, сказал, что вот дожует завтрак и тут же выходит. Уточнил только: а точно ли самоубийство? Дежурный успокоил: точно. Рядом с трупом записка лежала, не оставлявшая никаких сомнений. Так что бригаду гонять нет необходимости. Если же окажется что не так, пусть Алексей Степанович звонит.

— И чего это людям не живется? — вздохнул Алексей Степанович. — Смотрю в окошко: на улице благодать!

— Обещали «солнечно и минус семь-десять», — подтвердил дежурный.

На том разговор и закончили.

Из дома вышел, невольно зажмурился и крикнул от восхищения. Небо — голубое, прозрачное, морозец — в самый раз, снег — белизны необыкновенной. Наглядный, между прочим, результат конверсии: химзавод с августа остановлен. Однако любая палка о двух концах. Воздух чище стал, а криминогенная обстановка ухудшилась. Три тысячи человек лишились работы, не шутка! Кто постарше, те как-то приловчились, выкручиваются, не нарушая уголовного кодекса, а молодежь, та больше на кривую дорожку сворачивает.

Тут мысли такое направление приняли, что, может, сегодняшний самоубийца как раз с химзавода и будет. Ведь для некоторых работа — единственный стержень жизни, без нее они и не представляют своего существования на земле. Опять же потерян источник средств для этого существования. А если семья большая? Тогда и впрямь, хоть в петлю лезь. Вот и лезут. В его практике с начала года это, наверное, восьмой случай. Два, правда, с крутого похмелья, один на любовной почве, а четыре, получается — большинство, действительно из-за несогласия жить в нищете или, как он в постановлениях о прекращении дел формулировал, «по причине нарушения психики в результате резкого ухудшения материального благосостояния». В общем, что там говорить, к новым реалиям не каждый приспособиться может...

Алексей Степанович вздохнул невольно, и шаг ускорил и попытался думать о чем-нибудь другом, положительном. Вот хорошо, что еще только начало декабря, а снега уже навалило порядком, Это для будущего урожая полезно, и больше шансов, что крыжовник не померзнет, как случилось пять лет назад, когда зима

выдалась морозной и бесснежной. Да, по нынешним временам садовый участок здорово выручает. Они с женой до будущего лета, можно сказать, полностью обеспечены собственной овощной продукцией. Самое главное, картошка уродилась хорошо. Моркови и свеклы тоже запасли вдосталь. Огурцов и помидоров закатали пятнадцать трехлитровых банок. Варенья трех сортов — девять литровых, да еще сын пять в Москву увез. Правда, лука пришлось подкупить, и капусту заквасили покупную. А если прибавить еще грибы, опять нынче было косой коси, то, считай, продовольственная проблема для семьи Корзухиных фактически решена.

Каждому бы жителю России по шесть соток, тогда бы любые экономические эксперименты проходили безболезненно для населения. Прав мэр. До чего же башковитый он все-таки мужик! Министерство хотело прикрыть химзавод в четвертом квартале, но Борис Михайлович настоял, чтоб летом. Объяснил: пока холода не наступили, думы трудящихся сосредоточены исключительно на своих огородах и приусадебных участках, и социального взрыва, на который намекает центральное телевидение, можно не опасаться. Когда руки делом заняты, никакие шальные мысли в голову не придут. Взять нашу историю. Все заварушки в холодное время года начинались, когда нет сельскохозяйственных работ. Октябрьская революция, февральская, девятьсот пятого года — та в январе. А раньше — декабристы. Прошлогодние кровавые события в Москве опять же — третьего-четвертого октября.

Эти примеры мэр повторил и на встрече с правоохранительными органами. Алексей Степанович тогда

еще подумал, интересно, а в каком месяце Пугачев свое восстание поднял. Пришел домой, не поленился, заглянул в энциклопедию. Первый манифест, там написано, выпустил Емельян Пугачев 17 сентября. В пересчете на новый стиль это уже первое октября. Наверняка к тому времени казаки с урожаем управились.

Удачно с энциклопедией получилось. Когда районную библиотеку закрывали из-за невозможности финансирования, многие книги в макулатуру списали. И энциклопедию эту, полный комплект, тоже, потому как еще хрущевских времен. Жена ее дней десять домой перетаскивала — книги тяжеленные, больше пяти-шести за раз не унесешь. В последнее время, как вдвоем остались, полюбили они разгадывать кроссворды, так что энциклопедия очень кстати прилась. Фактическая сторона ведь в ней правильная, а что идеологические формулировки устарели, так они для кроссвордов и ни к чему вовсе.

И еще повезло, что библиотеку закрыли, когда его Татьяна Васильевна аккуратно пенсию выслужила, полный стаж. Ему же еще год и четыре месяца лямку тянуть. Сослуживцы не верят, что Корзухин о пенсии мечтает, а он действительно спит и видит, когда наконец вручат ему в отделе кадров обходной бегунок. Конечно, жалко уходить, в то время как зарплату повысили и обещают регулярно добавлять, но уж больно в тягость стала служба. Когда деньги правят бал, совесть сохранить трудно. Если раньше только сверху на закон поплевывали, то теперь плюют и сверху, и снизу и сбоку...

До чего ж порой мысли затейливый оборот принимают! Начал он думать про снег, с него перешел на да-

чу, с дачи на химзавод переключился, потом на мэра, потом аж до Емельяна Пугачева добрался. Кстати, вот загадка человеческой психологии. Объявил неграмотный казак себя царем, и тысячи людей поверили. Интересно, выдай себя сейчас кто за Брежнева, нашлись бы такие доверчивые?

Вопрос этот показался Алексею Степановичу весьма остроумным и он даже хохотнул вслух, благо поблизости никого не было. Но, посмеявшись, рассудил уже вполне серьезно, что лопоухих простаков и сейчас навалом. Во что только не верит наш народ! И в гороскопы, и в акции, и в инопланетян и в барабашек. И вот что поразительно, в любую несусветную ахиною русский человек верит порой без малейших раздумий и колебаний, до ожесточения верит, а очевидные факты склонен подвергать сомнению. К примеру, такой случай из недавней практики. Допрашивал он в качестве свидетеля одного мужика. На вид обстоятельный, серьезный, лысина до затылка. Буквально на глазах у него сосед ножницами жену пырнул, та чудом в живых осталась. И вот показывает ему Алексей Степанович это главное вещественное доказательство, то бишь ножницы, спрашивает, подтверждает ли тот, что они послужили орудием преступления, но вместо ожидаемого короткого «да» слышит в ответ нечто совсем несуразное: «Оно, вроде бы ими Серега Надьку урезонивал, сам видел, но теперь чего-то сомнение берет. Ножницами-то не больно с руки. У них, знаю, ножей кухонных штук пять, один острее другого, чего он, дурак что ли, чтоб ножницами орудовать? Может, не углядел я, может, померещилось, что ножницами, а, гражданин следователь?» И смех и грех.

Тут трагикомическое это воспоминание пришлось оборвать, потому как увидел Алексей Степанович, что приземистое серо-желтое строение барачного типа, оно и есть дом пять по улице Гагарина. На крыльце бабка стоит и черной плюшевке и сером платке. Увидев, что он остановился, номер дома разглядывает, коlobком скатилась с крыльца, засеменила к калитке, на ходу причитая:

— Ой, не к нам ли, товарищ, будете? Ой, горе-то у нас какое!

— Русаков Иван Андреевич здесь..., — начал Алексей Степанович и запнулся. Хотел спросить «здесь живет?», да ведь тот покойник уже, а сказать в прошедшем времени «жил», прозвучит как-то глупо.

— Ох, здесь он, здесь, горемычный! — запричитала старуха. — В сарае он. Ох, Господи, грех-то какой!

За долгие годы службы, связанной, как известно, с обстоятельствами печальными, следовательно Корзухин причитаний наслышался предостаточно, привык, что называется, пропускать их мимо ушей, а опытным путем давно уже установил, что в подобных ситуациях не сочувствие успокаивает людей, а наоборот деловой казенный тон. Поэтому придал взгляду строгость и спросил официально:

— А вы сами, гражданка, кем покойному приходиться?

— Соседка я, — ответила старушка голосом еще жалостливым, но уже без завываний. Правда, пару раз носом шмыгнула. — Зовут меня бабой Верой, а если для вашей надобности имя-отчество требуется, то Вера Никитична я, по фамилии Смирнова.

Пока вела она его к сараю расположенному за домом метрах в пятнадцати, то и дело оборачивалась и скороговоркой, но обстоятельно и по порядку, рассказывала, как все обнаружилось. Спит она беспокойно. Особенно в последнее время, как случилось в поселке несколько краж из сараев. На Первомайской у Михайкиных даже кубометра два дров на ихних же санках увезли. Она такого с войны не припомнит. Стало быть, почудилось ей под утро, будто скрип за окном. А ее окошко как раз на сараи выходит. Уже светать начало — не так страшно, оделась она и пошла, проверить, все ли там в порядке. Сараи у них в рядок стоят, на каждую семью отдельный, ее самый ближний. Свой-то, она сразу углядела, что замок на месте, стоит нетронутый, а вот у дальнего, Ирки Плясуновой, дверь расхлябастана, она и скрипела под ветром. Испугалась, конечно, постояла, прислушалась: тихо. Шумнула — никто не откликнулся. Осмелела, подошла к Иркиному сараю, осторожненько заглянула в него и чуть сознания не лишилась, когда вишельника там увидела. По носкам, сама их вязала, признала сразу Ваню Октябренка, у Ирки он квартирует. А может и сожительствует они, это не ее дело. Только Ирка сегодня в ночную, она медсестрой в больнице работает, так что пришлось будить Валентина, другого соседа, а еще соседи — Козелковы, Александр Григорьевич и Тамара Петровна, они в отъезде, уехали на свадьбу дочери в Тамбов.

Сарай, в котором свел счеты с жизнью Иван Андреевич Русаков, почему-то названный бабой Верой октябренком, был тесен и низок. Поленицы колотых дров образовывали сплошную стену и поднимались до

потолка. Только в правом углу, с которого, видимо, началась выборка дров, образовалось уже свободное пространство в полтора-два квадратных метра. Его оказалось достаточно, чтобы самоубийца смог успешно осуществить свой ужасный замысел.

Впрочем, отметил про себя Алексей Степанович, может, особых проблем для него и не было, потому, как был он совсем небольшого росточка и щуплой комплекции — не отсюда ли и прозвище? Но снятый с петли висельник даже при таких малых габаритах не уместился бы на свободном участке пола, и догадливый Валентин прислонил его к поленнице дров, а для устойчивости приставил несколько крупных чурбанов.

Когда человек мертв, положено ему находиться в лежачем положении, а стоящий труп да еще с обрывком веревки на шее — зрелище не для слаонервных. Хотя к таковым следователь Корзухин себя не причислял, однако поторопился быстрее покинуть место происшествия, ограничившись беглым его осмотром. Да и нужды никакой не было здесь задерживаться. Картина ясная. Следов насилия нет, так что версия самоубийства единственно верная. Остается лишь выяснить его причины и можно ставить точку. Вот только записки, о которой говорил дежурный, рядом с трупом почему-то не оказалось. Но Вера Никитична сразу его успокоила:

— Не тревожься, милый, записочка Ванюшина в целости и сохранности, я ее к себе унесла. А то, думаю, Валентин, небось, расскажет на работе, он в автопарке слесарит, о нашем несчастье, придет кто любопытствовать и бумажку эту может затоптать нечаянно или, того хуже, возьмет ее для интересу.

— Весьма разумно, — одобрил Алексей Степанович.

— А если для вас важно, где она лежала, — внесла полную ясность старушка, — так Ваня ее на чурбачок положил, который, видели, рядом с его валенками, а сверху замком придавил, чтоб и заметно было и ветром не сдуло. Он всегда такой — аккуратный, предусмотрительный. Вон и валенки скинул, когда вешался. Он, если в гости ко мне заходил, обязательно обувь снимал, такая у него была культурная привычка.

Войдя в комнату бабы Веры, Алексей Степанович будто перенесся эдак лет на пятьдесят назад, в свое послевоенное детство. Темно-вишневый, щелястый пол, устланный от порога, до самого окна узким полосатым половиком. Справа от двери на уровне его плеча, по росту хозяйки, настенная вешалка с немудрящей старушечьей одежкой. Слева — беленая известью печка-голландка. Над ней полка с посудой. Дальше вдоль стены железная кровать на колесиках с блестящими никелированными шарами, венчающими стойки в изголовье. Высокая горка подушек накрыта кружевной накидкой, наверняка, собственного хозяйкиного рукоделья. Другая накидка того же узора, но размером поменьше, украшала приземистый комод, расположенный симметрично у противоположной стены. На нем стеклянная ваза с искусственными красными розами и фарфоровая статуэтка борзой собаки — каким-то образом попавший сюда немецкий трофей. Но, пожалуй, самая красивая вещь в комнате — висящий над кроватью коврик с изображением льва, гордо возлежащего на фоне диких скал и одинокой пальмы. На подоконнике три горшка с

геранью, а в двух жестяных банках из-под зеленого горошка мясистый столетник, выращиваемый не для красоты, а в сугубо медицинских целях — от старческих запоров лучшее средство. Из всего убранства комнаты на день сегодняшний указывали разве что черно-белый телевизор «Рекорд» на тумбочке в углу да икона над ним. Что за святой на ней, Алексей Степанович распознать, конечно, не мог, так как вся сознательная жизнь его пришлась на времена безбожья, а нынешний религиозный ренессанс его пока не коснулся. Тем не менее, он подумал, что соседство иконы с телевизором не очень-то подходяще. Впрочем, в этом даже видится какой-то символ нашего смутного времени. Многие нынче «ящичку» молятся, что скажет с экрана Света Сорокина, то для них и откровение и заповедь.

Как бы то ни было, а уютная комнатка бабы Веры располагала к мыслям несуетным, к разговорам о вещах простых и обыкновенных, о тех же, скажем, дачных заботах, или как быстро внучата подрастают, или какие

меры предпринять надобно, чтоб жучки в перловой крупе не заводились. Вместо этого предстояло ему опросить гражданку Смирнову В. Н. по поводу события страшного, не поддающегося разумному объяснению, наводящего уныние и тоску.

В комнате было прохладно — печку по понятной причине хозяйка еще не протопила, так, что Алексей Степанович решил не раздеваться. Шапку только повесил на вешалку. Не в пример аккуратисту покойнику ботинки снимать не стал, ограничившись тем, что тщательно вытер их о тряпку, расстеленную у порога. Строго по половичку прошел к столу, сел так, чтоб свет из

окна, как рекомендует учителя и врачи, падал слева, вытащил из портфеля, который привык всегда носить с собой, несколько бланков, предназначенных для показаний свидетелей.

Меж тем баба Вера, скинув плюшевое пальтишко и шерстяной платок — на голове остался ситцевый, белый в синий горошек — прошмыгнула к кровати, вытащила то ли из-под подушек, то ли из-под матраца небольшой листок бумаги, протянула его следователю. Предсмертная записка Ивана Андреевича Русакова была написана разборчивым крупным почерком и состояла всего из пяти коротких фраз, но читал ее Алексей Степанович довольно долго. Очень уж неожиданным оказалось такое вот послание самоубийцы: «В моей смерти прошу никого не винить. Из жизни ухожу добровольно. Больше нет сил. Признаю себя виновным в смерти 108 человек, среди которых были женщины и дети. На этом свете прощения мне нет. Иван Русаков».

— М-да, — покачал головой Алексей Степанович, убирая записку в портфель. — Дело, смотрю, принимает скверный оборот.

— Чего-то не так Ваня написал? — обеспокоено спросила старушка.

— Мягко сказать, «не так», — усмехнулся Алексей Степанович. — Покойничек ваш, получается, был о-го-го! На совести-то у него, не шутка, 108 трупов. Чикатило и тот меньше людей загубил.

— Ой, вот вы о чем! — с облегчением вздохнула баба Вера и перекрестилась. — Так в этих смертях, если рассудить по-божески, у Вани и нет никакой вины. Это наговорил он на себя. Больно уж он совестливый.

— Давайте пока без характеристик, — сухо сказал Алексей Степанович, досадуя на себя, что поддался эмоциям и выказал свое негативное отношение к покойному Русакову. — Начнем, гражданка, по порядку. О каких это трупах упоминает в своей записке ваш сосед?

— Так я вам и хотела рассказать, — обиженно поджала губы баба Вера. — Ваня ведь он только приказ исполнял. Танкистом он был. Тем самым.

Последние слова произнесла она почти шепотом и со значением посмотрела на следователя: понимаете, мол, о чем речь?

— Уточните, что значит «тем самым»? — не скрывая недовольства, спросил Алексей Степанович. Поначалу старушка показалась ему вполне разумной и толковой и вдруг какие-то таинственные намеки.

— Ну, Ваня-то наш из тех самых танкистов, — совсем уж перешла на шепот баба Вера, — которые в прошлом году в Москве по тамошнему Белому дому стреляли. Телевизор тогда смотрели? Так, Ванин танк, он говорил, всех ближе на мосту стоял. А потом объявили, что побито было там сто восемь человек. И вроде бы среди них находились женщины и ребяташки. Женщины, я так понимаю, из обслуживающего персонала, а ребяташки — по глупости, интересно им посмотреть, как стреляет.

Баба Вера еще что-то говорила про родителей, которых пороть надо, что оставляет без присмотра немышленных детей, но Корзухин слушал ее вполуха. « Вот те на! — думал он. — Оказывается, этот маленький жалкий человечек, без каких бы то особых примет, что замерзшим бревнышком стоит в деревянном сарайчике,

есть в известном роде личность необыкновенная, можно сказать, историческая. Ведь откажись он тогда стрелять или поверни пушку не на Белый дом, а на Кремль, совсем по-другому пошли бы события в стране. Но история, как частенько повторяет умные люди с экрана, не имеет сослагательного наклонения»...

Успокоительная эта сентенция, тем не менее, не успокоила Алексея Степановича. Смутно чувствовал он какое-то несоответствие между предсмертной запиской самоубийцы, рассказом Веры Никитичны Смирновой и той жуткой реальностью прошлогоднего московского октября. «Что-то тут не так, не так» — повторял про себя под журчащий говорок старушки. И вдруг, как озарило. Ведь танков на том мосту, было, кажется, четыре. Значит, на каждый, если поровну брать, приходится по двадцать семь трупов. Правда, когда окончательные итоги подвели, общее число погибших оказалось порядка полутора сотен. Все равно получается, что каждый танкист, принявший участие в той стрельбе, может быть повинен в гибели тридцати, ну от силы тридцати пяти человек. Арифметика для первого класса! А Иван Андреевич Русаков, выходит, всех на свой счет зачислил. Непонятно, зачем лишний грех на себя брать?

Выслушав сомнения следователя, баба Вера ответила уже не скороговоркой, раздумчиво:

— Видать, Ванюша первое сообщение об убиенных запомнил, вот и запали ему в душу сто восемь человек. А что он их всех на себя одного принял, так, я думаю, потому что другие, которые тоже стреляли, не каются, не просят у Бога и людей прощения. Вот он, значит, и за грехи товарищей своих решил ответить. Только опять

скажу, напрасно он себя так растравлял. Если и есть на нем вина, как самая малая. Ведь он человек военный был. Раз присягу принял, выполняй без прекословия приказ командира. А ему, знаете, кто распоряжение стрелять отдавал?

— Догадываюсь, — кивнул Алексей Степанович.

— То-то, что догадываетесь, — укоризненно протянула баба Вера. — Сидючи здесь, и посмеяться можно и критику навести на самое даже главное в стране начальство. А он, бедняга, пред их ясные очи предстал. Коленки бы, небось, у любого задрожали. Попробуй ослушаться, тут не то что разжалуют, в тюрьму посадить могут. — Она попыталась сделать страшные глаза, отчего ее круглое доброе личико приняло уморительное выражение. Алексей Степанович невольно улыбнулся.

— Вот вы, милый человек, посмеиваетесь, — с легкой обидой в голосе продолжила старушка. — Наверное, сомневаетесь, откуда бабка про военные порядки знает? А я замужем была за военным. После войны мой Владимир Николаевич на сверхсрочной остался. Старшиной, по-теперешнему — прапорщиком. Семь лет с ним по гарнизонам моталась, насмотрелась на солдатскую службу, па строгости ихние. Из-за такой жизни бродячей и специальности не приобрела. Помоложе была, официанткой в столовых работала, а потом, когда их там отменили, и посудомойкой и уборщицей. Оно, конечно, любой труд тогда был почетен, грамот у меня полон комод, только платили мало. А муж, как его из-за последствий ранения демобилизовали, такие же копейки по инвалидности получал. Богатства, вишь, не удалось нажить. Помер Владимир Николаевич в шестьде-

сят четвертом — мне только-только сорок исполнилось, с той поры бобылкой и живу. Детишек-то нам Бог не дал. Потому, может, у меня к Ванюше такое сердечное расположение...

Тут она платочек из кармана кофточки поспешно вынула и дала волю слезам. Алексей Степанович подождал, пока баба Вера выплачется, потом предложил деликатно:

— Вы, гражданка Смирнова, извините меня, что приходится вас расстраивать своими расспросами, но порядок требует выяснить причины самоубийства. Безусловно, такой факт, как расстрел соотечественников, повод уважительный, чтобы себя жизни лишиться. Однако, может, здесь и другие какие обстоятельства отрицательную роль сыграли? Какие у него отношения в семье? На службе? Он сейчас, очевидно, в отпуске находился? Ведь, как я вас понял, служил он в Кантемировской дивизии, а она дислоцируется под Москвой.

Под спокойным доброжелательным взглядом следователя баба Вера успокоилась, платочек перед собой на стол положила, принялась за рассказ. Порой вспоминала она разные подробности, не имеющие к делу никакого отношения, но Алексей Степанович не перебивал, рассудив с грустью, что для одинокой старушки, может, и осталась единственная радость — поговорить вволю.

Из показаний свидетельницы Смирновой Веры Никитичны следовало, что покойному Ивану Русакову было от роду тридцать четыре года. День его рождения справляли в июне, а ровно через месяц отмечали ее семидесятилетний юбилей. Тогда Ваня подарил ей краси-

вый цветастый платок. Ирка похвасталась: больших денег стоит. Баба Вера, дуреха, возьми и скажи: лучше бы в таком разе деньжатами одарили, пригодились бы на похороны. Ваня за плечи ее обнял, сказал ласково: «Живи подольше, баба Вера!». А Ирка объяснила, что деньги и сегодня ничего не стоят, а завтра вообще будут так, бумажки. Вот, мол, когда помрет баба Вера, тогда и платок можно продавать за подходящую цену. Ирка, она женщина ехидная, но не злая. А что разорется иногда без причины, так потому что непутевая. И то: ей уж под сорок, она старше Вани года на четыре будет, а все в девках. Да и сказать, чтобы гулящая, какая была, тоже нельзя. Правильно говорится, не родись красивой, а родись счастливой.

С Ваней она познакомилась пять лет назад, на юге вместе дикарями отдыхали. Сейчас простому человеку о южном отдыхе и не мечтай. Тогда промеж них вроде ничего не случилось — Ирка еще больно разборчива была. Ваня-то он, видели, махонький, не видный из себя, а она — фигуристая, глазастая. Но адресок свой ему все-таки оставила. Пару раз он ей написал, она, видать, не ответила, ну и он перестал надоедать своим вниманием. Только вдруг в прошлом году, как раз об эту пору получает Ирка от него письмо, в котором он просится к ней приехать. Она бабе Вере сама то письмо показывала, совета спрашивала. Писал Ванюша ей, что после октябрьских событий жить в Москве не может, пережил такое, что не трудно сойти с ума, надо переменить обстановку, а он сирота, близких никого нет, Ирину же вспоминает все эти годы. Любой женщине приятно такое признание прочитать, тем более что он сообщил,

что деньги у него на первое время есть в приличном размере. Баба Вера ее отговаривать не стала, тем более видит, она уже все сама решила.

Заявился Ваня сюда, почитай, уже в феврале. С одним чемоданчиком, но при деньгах — они вскорости корейский цветной телевизор купили. Поначалу он бабе Вере не глянулся — шибздик какой-то. А потом, когда пожилы рядышком, очень даже пришелся соседке по душе. Непьющий, только по праздникам себе позволял, вежливый, обходительный. Вон Валентин, что ни слово — мат-перемат, а Ваня со всеми соседями исключительно на «вы» изъяснялся.

И при всем при этом с Ирккой у них быстро не заладилось. Она его поначалу Ваней звала, потом Иваном, а уж месяца три кличет не иначе как «квартирантом». А то еще «октябренок» называет. Но это прозвище, как понимает баба Вера, нельзя считать обидным, потому что Ваня, он и на самом деле был, как маленький ребенок — доверчивый, ласковый. Опять же то, что за те октябрьские пакости до сих пор так сильно переживал и не раз перед соседкой казнил себя за свое в них участие, говорит о нем с лучшей стороны. Истинный грех, батюшка ей на исповеди объяснял, тот, что без покаяния остается, тот, что сам человек в гордыне своей и за грех не считает. Сердцем надо понять, что согрешил и покаяться, не таясь, тогда и будет тебе спасение. А Ирка, бессовестная, нет, чтобы посочувствовать человеку, еще издевалась: «Чего ты, баба Вера, его жалеешь? Они ведь, те танкисты, которые тогда стреляли, по миллиону получили». — «Ну, и что? — возражала ей баба Вера. —

За такое страшное дело, конечно, поощрение требуется. А как же?!»...

Двадцать минут, Алексей Степанович по часам заметил, говорила баба Вера без передышки, продолжала бы и дальше, да тут, легка на помине, появилась Ирина Сергеевна Плясунова. Оказалась она дамочкой симпатичной, в дубленочке, шапке песцовой — все чинчином. Но хоть лицо и сильно подмалевано, по опухшим не от слез глазам Алексей Степанович сразу определил: попивает бабенка.

Корзухин представился, объяснил, что по факту смерти гражданина Русакова, пусть это и очевидное самоубийство, тем не менее полагается опросить свидетелей на предмет выяснения причины. Добавил, что после беседы с Верой Никитичной Смирновой причина прояснилась и заключается она в том, что покойника постоянно тяготило сознание своей вины за участие в известных событиях октября 1993 года в Москве.

— Да вы что, гражданин начальник! — вылупила на следователя свои глазища Ирка. — Вы что, действительно поверили, что Иван — танкист, который по Белому дому стрелял?!

— М-м-м, — только и смог выдавить из себя Алексей Степанович, никак не ожидавший такого поворота дела. Какие могут быть розыгрыши, когда речь идет о смерти человека?!

— Ну, баба Вера, баба Вера! — осуждающе протянула Ирка. — Представляю, что она вам здесь наболтала.

— Пойдите! — потрянул головой Алексей Степанович. — Но покойник, же оставил записку. Какой смысл был ему наговаривать на себя?

— Да чокнулся он на этих октябрьских событиях, — устало проговорила Ирка. — Прибабахнули они его. Втемяшил он себе в башку такую, блажь, что виновные в смерти людей покаяться должны. Как же, разбежался! Забыл, что у нас всю дорогу так: одни грешат, а расплачиваются за их грехи другие. В общем, не дождался наш Иван ихнего покаяния, а мысль эта у него дурацкая задела в башке, что без искупления вины жить невозможно, вот он и вообразил себя тем самым танкистом. А в армии-то он служил в стройбате, потому и в Москву попал по строительному лимиту. Да что там долго объяснять — сдвинулся мужик по фазе. Надо было его психиатру показать, да неловко перед людьми. Тем более, баба Вера не даст соврать, он тихий был, безобидный. Разве только талдычил все время про этот несчастный октябрь. Потому я его Октябренком и прозвала...

Вдаваться дальше в подробности у Алексея Степановича не было никакого желания. Ему бы порадоваться, что дело о самоубийстве гражданина Русакова И. А. оказалось таким заурядным, а он, когда уже и на улицу вышел, все ворчал что-то, ворчал, и на душе было невыносимо скверно.

Москва, декабрь, 1994 г.

УДАЧНЫЙ ДЕНЬ

Ой, как ладно начался день! До завтрака еще стала поливать цветы — чем раньше их окропишь водичкой, бабушка ее учила, тем пышней цвет будет — и к радости своей обнаружила, что болявая фиалочка глазочек синий раскрыла. Махонький, как булавочная головка, а такой яркий, аж зажмурилась. Рядом еще два бутончика. И листики всего три дня назад были жалкие, скукоженные, а тут распрямились, округлились, пушком мягким покрылись, головки их — будто плюшевые. А ведь, чего там лукавить, давно собиралась эту фиалку выбросить, да ничего подходящего на замену не находилось. Некоторым все равно — цветет растение, не цветет, лишь бы кислород выделяло, а ей главное, чтобы цветок глаз радовал своей красотой. Вон герань — не налюбуйешься! И запах, какой приятный! Та, что крайняя на подоконнике, в январе распускается, гроздь алые, величиной с блюдце. За окном мороз, а тут лето красное. Смотрит она на свои цветики-цветочки и вспоминается что-нибудь из прошедшей жизни, все больше из молодых лет, и неважно — горькое или радостное — слезы нечаянные на глаза наворачиваются. По старости шибко чувствительной стала. Может, от одиночества, а скорее от характера, он сызмалу был у нее жалостливый, только жизнь суровая не позволяла нюни распускать. А сейчас никто этих глупых слез не видит, никто не посмеется над ними, никто не осудит. Только не все в старости сердцем добреют. Взять ту же Марию Александровну, что фиалку ей подарила. Три года, как они знакомы. В

скверике присели вместе на одну скамеечку отдохнуть, разговорились, выяснили, что обе бобылками живут, посочувствовали друг дружке. Марья Александровна на чаек ее пригласила, оказалось, через два дома она живет, можно сказать, соседи. Теперь на неделе раза два-три встречаются, ну а уж по телефону о здоровье побеспокоятся каждый день. В общем, прилепились одна к другой крепко, хотя дружбой их отношения вряд ли можно назвать, уж больно разные у них взгляды почти на все жизненные обстоятельства. Марья Александровна всю жизнь в аптеке проработала, лекарства там приготавливала, кажется, когда делами милосердными человек занимается, смягчится должен его характер, а у нее он прямо яростный какой-то. Все не по ней. Вот давеча разозлилась, что гараж еще один у них во дворе поставили, а по ней так лучше, когда машины в гаражах, а не чадят под окнами. Или, когда последний раз в скверике своем сидели, какой ор устроила подружка, что собак много развелось. И не то ее раздражение вызвало, что боится, вдруг укусит какая, а что мясом их кормят, она же самой паршивой колбасы, которая хуже прежней «собачьей радости», и то может позволить себе купить двести граммов на субботу и воскресенье.

Кто спорит, на их пенсии не разгуляешься, только зачем понапрасну себя растравлять. Не лучше ли мудрость народную вспомнить: «по одежке протягивай ножки». И потом в их преклонном уже возрасте от мяса один вред для сосудов. Здесь недавно в магазине одна женщина, еще даже и не пенсионерка, подсказала ей хороший кулинарный рецепт. «Вот, — говорит, — все предпочитают потрошенный минтай покупать, а я ищу,

чтоб цельный был. Он на тридцать процентов дешевле и два блюда из него получается: и первое и второе. Тушки, конечно, жаришь, а из голов и хвостов делаю уху. Морковку с лучком пережаришь, картошечки добавишь, немножко перловки или пшена, кинешь в бульон несколько горошин перца да лавровый листик, и будет уха, что тебе из осетрины. «Попробовала сама по этому рецепту сварить, ну, может, и не настоящая уха вышла, а нормальный рыбный суп. Поделилась этим рецептом с Марьей Александровной, а та не то, чтобы «спасибо» сказать, глаза на нее выпучила и с улыбкой какой-то нехорошей, ехидной протянула: «А, знаете, Тамара Петровна, как супчик ваш называется? — «Тюремная баланда» — вот как!» И по обыкновению своему добавила пару ругательные слов насчет нынешнего руководства страны. Она вообще на язык несдержанна, кто наверху там, все для нее или жулики или алкаши. Культурная женщина, не то, что простая швея-мотористка, а однажды даже матерную характеристику выдала правительству. Ну разве так можно? Она, безусловно, тогда не смолчала, заступилась за людей. Жизнь, кто спорит, хуже стала, но почему одно начальство в этом винить? А продавец ее вчера обсчитал, причем тут президент? А спекулянтов сколько развелось, что их правительство что ли заставляет спекулировать? Просто совесть некоторые потеряли. Она с голоду помрет, но не пойдет к метро перепродавать сигареты, а уж тем более водку, как некоторые старухи делают. Что они сами не понимают,

сколько бед от нее? А в электричках хулиганье стекла бьет и сиденья режет, милиционера же в каж-

дый вагон не посадишь! Что говорить, распустился народ, а все виноватых вокруг себя ищем. Марья Александровна упрямица, каких не сыскать, конечно, возражать стала, мол, рыба гниет с головы, это у нее любимое присловье, ну, в общем, чистый Карабах у них получился. Еще бы немного и разругались вконец, но она, хоть и постарше Марьи Александровны на целых двенадцать лет, первая пошла на мировую. «И чего мы, старухи, сцепились? — улыбнулась подружке. — Пусть политики грызутся между собой, а нам-то делить нечего. Что у нас других забот нет что ли?» Марья Александровна еще с минутку, — характер-то надо показать, — поворчала-поворчала, а потом признала ее правоту, но опять же со своей особицей: «И то верно, Тамара Петровна, делить нам нечего, а эти паразиты всех перессорить хотят. Так давайте назло им жить дружно!» Помирились, одним словом, надолго ли — неизвестно. Марья Александровна по любому поводу озлобиться может. Только грел ее осуждать. Муж умер три года назад и осталась она одна-одиошенька. Детей, говорит, им Бог не дал, а, может, сама виновата — не ей судить. А родичей всех поголовно немцы в войну перебили. Она тут на «Родительскую субботу» списочек поминальный составляла — двенадцать имен, и против каждого написала «убиенный». И разъяснила ей, что, когда подаешь «на помин» в родительскую субботу, то надо записывать только ближайших родственников и, если кто не своей смертью помер, а погиб на войне, тогда и надо обязательно это уточнение сделать. У нее список покойников, конечно, побольше получился, чем у Марьи Александровны — двадцать девять душ, и убиенных в

нем оказалось чуть ли не половина. Отец еще в Гражданскую сгинул, она его и не помнит, Коля, муж любимый, в сорок четвертом при освобождении Литвы, четыре брата его тоже с войны не вернулись и ее трое — Анатолий, Константин и Василий, и сестра младшенькая Шурочка ушла на фронт добровольно медсестрой и уже в Германии в их полевой госпиталь было прямое попадание снаряда, а дядья, мамины братья, дядя Сережа и дядя Гриша весной сорок шестого пахали поле и на мине подорвались — в Смоленской области немец много мин оставил и долго потом в тех краях, как газеты писали, звучало это эхо войны. А еще после некоторого раздумья внесла она тогда в свой список и внучкиного жениха Валерия. То ли азербайджаны, то ли армяны его подстрелили, в сообщении из части конкретно об обстоятельствах смерти ничего не было указано, просто написали, что трагически погиб при исполнении воинского долга и все. Понятно, Валерия официально нельзя родственником считать, но у них с Викочкой такая хорошая, такая жаркая любовь была, что вернись он из армии, пусть даже покалеченным, они бы непременно поженились, для молодой девушки это ж какое потрясение было, и как упрекнешь ее, что и институт свой заочный забросила, и работ несколько сменила и, как ни плакала, ни умоляла ее бабушка, уехала за границу счастья искать. Соблазнило, дуреху, объявление в рекламной газетке, что приглашает известная французская фирма высоких стройных девушек для работы фотомоделями, то есть, как растолковала ей Вика, будут снимать их для разных красочных журналов, и успокоила, что необязательно голыми, а как раз наоборот будут

они демонстрировать новые моды одежды или обуви, или духи или драгоценные брошки и ожерелья. Была бы жива мать, она бы, конечно, не дала бы своего благословения на такую сумасбродную затею, да только уж девять лет скоро, как успокоилась вечным сном ее Таня-Танюрочка. Сорок шесть годочков всего было отпущено дочке пожить на этом свете. Не выдержало ее бедное сердечко обид и издевательств от алкоголика-мужа. Сколько раз ей говорила: «разведись», а Танюрочка в ответ: «да как же можно, мама, ребенку при живом отце сиротой остаться? И любит Юра Викторию, и обещал мне клятвенно, что будет лечиться, я тут адрес одного старичка-шептуна узнала, который от запоев заговаривает». И знахари его заговаривали, и экстрасенсы по-научному внушения делали и в профилактории два раза лежал, а толку — пшик. Полгода от силы продержится и снова в разгул пускается. Развелись они все-таки, когда Вике шестнадцать исполнилось, но и потом он покоя не давал, телефонными звонками донимал, желает, мол, участвовать в воспитании дочери. После развода дочка обмен произвела и они съехались в эту двухкомнатную. Хоть и малогабаритная она, тесноватая квартирка, а правильно говорится «в тесноте да не в обиде». Те два года, что втроем они здесь прожили, для нее так, наверное, самыми счастливыми останутся. Последние года три зятек бывший будто сгинул куда, а, может, и встречалась Вика с непутевым папашей своим да от бабки утаивала. А тут с месяц назад звонок: «Позовите, пожалуйста, Викторию!» Голос изменил, паразит, но она сразу узнала его по пьяному выговору. «Вы, Юрий Владимирович, — попеняла вежливо, — если выпили,

ложитесь спать, разговаривать я с вами согласна только, когда будете трезвым». Тут надо было сразу трубку положить, а она чего-то помедлила и последнее слово за ним осталось. И до чего же бесстыжая душа, нет, чтоб извиниться, он еще совести набрался ее попрекнуть. «Грех на душу берете, уважаемая Тамара Петровна, — протянул обиженно и вроде бы даже всхлипнул, — что презираете меня за то, что вино пью. А

Христос, он пьющим сочувствовал и воду в вино превращал, а не наоборот». Хотела крикнуть, чтоб не богохульствовал, да он уже отключился. «Ох, уж эти алкаши! — подумала. — Они и на Господа не боятся на-праслину возвести».

Все эти мысли в голове крутились, пока цветы поливала да чаек утренний пила. Потом пошла в почтовый ящик взглянуть — «Вечерку», как цены на газеты взвинтили, она перестала выписывать, но взамен теперь бесплатно две рекламные газеты кладут и листочки, агитирующие за товары и услуги. Листочки она, не читая, выбрасывает — какие могут быть особые приобретения в ее годы да и на сберкнижке лишь на похороны хватит. А вот в газетах кроссворды помещают, она любительница их разгадывать, от тяжелых дум они отвлекают и радостно, когда слово какое-нибудь заковыристое в точности угадаешь.

Газету стала разворачивать, письмо из нее выпало — весточка от сына долгожданная. Читала его, перечитывала, всплакнула, конечно, немножко, хотя ничего огорчительного в письме не сообщалось.

«Дорогая мама! — писал Николай. — Во первых строках прошу прощения за долгое молчание. Не хотел

понапрасну тебя огорчать. Четыре месяца не платили зарплаты, хотя мы и продолжали робить. И еще всякая волокита была с оформлением пенсии. В бухгалтерии хотели зажать у меня подземный стаж, но я им все доказал честь по чести, и они отступились. Теперь я пенсионер, как и ты. Конечно, с московскими наши пенсии не сравнить — жалкие гроши, но выдают их пока регулярно. С работы я не ушел, надеюсь, скоро напечатают побольше карбованцев и вернут нам долги. А уволишься, считай, плакали денежки. Галина все время на даче, огородом занимается. Говорит, чтобы я бросал работу и на хозяйство переключался. Так, наверно, и придется сделать. Но если бы платили аккуратно и хотя б четверть того, что в прежние годы, то я б еще на ридной шахте годок-другой поробил. Здоровье вроде позволяет. Внуки твои Максим и Тамара с Галиной на даче. Пионерский лагерь у нас закрыли еще в прошлом году. Да они уже и большими стали. Максиму-то пятнадцатый пошел, а Тамарочке в апреле одиннадцать отметили. Самое время, говорит Галина, приучать их к труду. Вот и все наши новости. Когда теперь свидимся и не знаю. Билет до Москвы — что две мои пенсии. Галина, правда, кабанчика откармливает, к зиме заколем, сала немножко себе оставим, а остальное на продажу. В Донецке цены, говорят, подходяще, а езды туда мне на «жигуленке» всего полтора часа. Но многие у нас мясо продавать ведут в Москву, говорят, бизнес получается хороший. Только какие с нас бизнесмены? Галина смущается, что учеников на базаре встретит, а у меня пальцы, не привыкшие бумажки отмусоливать. Так что, скорее всего, найдем на мясо перекупщика, хоть вдвое и

прогадаем, да зато без хлопот и страху, слышал я, что теперь на границе пассажиров здорово трясут и продукты, если много везешь, отбирают. Надо взятку давать, а это уж совсем не для нас. Пиши, мама, про свою жизнь и здоровье. Все ли лекарства тебе доступны? А то, может, у нас какие достать легче? Свояченица Лариса, ты ее видела, когда к нам приезжала, еще пройдох ее назвала, устроилась на хитрую работу, где гуманитарную помощь распределяют, а там и лекарства бывают. Только, она предупреждала, все они критического срока годности, так что про запас их откладывать нельзя, а надо начинать принимать сразу. Крепко целуем тебя и желаем здоровья. Николай, Галина, Максим и Тамара».

Хорошее письмо. Порадовалась, что неприятности у сына позади и на здоровье не жалуется. Надо ему отписать, чтоб послушался совета жены, хватит вкалывать на государство, а, может, там у них на Украине и на хозяина уже какого — еще обидней. С огорода, если к нему руки приложить, прокормиться вчетвером можно. А если еще кабанчика откармливать да курочек, к примеру, завести, экономия выйдет приличная. Дачу Николай построил основательную, с печкой, и зимой жить можно, за скотиной приглядывать. И машина у него есть. Раньше шахтеры, что говорить, деньгу загребали, платили по делу — сколько их там под землей гибнет, ужас!

Письмо ответное решила вечером написать, когда с домашними делами управится. Вот, кажется, одинокая старуха, сиди, смотри себе телевизор, а за день так умаешься. Квартира маленькая, а подмести ее да пыль протереть — больше часа уходит. Гречки вчера купила

два кило, не успела перебрать, вот и на сегодня занятие. У нее заведено все крупы сразу перебирать — и от сора и чтоб проверить, нет ли каких жучков. Вон Марья Александровна хотела недавно пустить в ход позапрошлогодние припасы риса, пока он дешевый был, она его килограммов десять купила. Да поленилась тогда не то что перебрать, а хотя бы в банки стеклянные пересыпать, так в пакетах на антресоли положила. А достала теперь один пакет, в нем жучков видимо-невидимо. И во всех остальных та же картина. Пришлось рис в тазу водой заливать, а мошкарку, как пену супную, шумовкой снимать. Да три воды сменила, пока вроде от всех жучков избавилась, А потом вот два дня рис просушивала на расстеленных газетах. Вот так, поленишься один раз, дашь себе послабление, а потом, сколько же лишней мороки получается!

Пока гречкой занималась, все о сыне продолжала думать. Она часто его вспоминает да все больше белогловым худеньким мальчишечкой, а он, — как же быстро жизнь пролетает! — уже пенсионер. Ох, Коля-Коляшечка! Если б ты знал, как тяжело ты мне достался, сколько слез горьких выплакала, пока вырастила тебя. С Танюрочкой чуть проще было, она еще до войны родилась, и в самые младенческие месяцы и молока материного было вдосталь, и кашек разных и всяких морковных, яблочных пюре. В Москве тогда с организацией детского питания был порядок. А Колюшка родился в феврале сорок пятого, уже в Куйбышеве. Коля в авиационной промышленности работал, самолеты строил, ценили его как рабочего высокой квалификации, бронь дали, в Куйбышев направили налаживать там произ-

водство. Но был он сознательный, партийный и в тайне от нее, конечно, — это уж потом она узнала — писал заявления с просьбой отправить на фронт. Пятнадцатого мая сорок четвертого — этот горький день до смерти не забудет — пришла призывная повестка. Сроку на сборы давалось два дня. «Не плачь, Тома, — успокаивал ее муж, — война к победе идет. Вернусь, заживем лучше прежнего. А ты к моему возвращению давай роди мне наследника, эти две последние ночки беречься не будем. «Как и просил, затяжелела она, да только родился сыночек уже сиротой, похоронка пришла пятого ноября, как раз накануне ее дня рождения, она тогда на шестом месяце была. Когда мальчика родила, вопроса не стояло, как его назвать, конечно же, в память отца. Только три месяца Колюшке исполнилось, у нее молоко пропало, думала, не выживет сыночек, так он плакал-надрывался, есть просил, хлебный мякиш сунет ему в рот, он на минутку затихнет, а потом обман-то распознает и снова в рев. Если б не соседка Марфа Семеновна, ой не избежать бы беды. Та продавщицей в магазине работала, то творожку кулечек принесет, то молочка кружечку. Танюрочка увидит это молочко, отвернется, забьется куда-нибудь в уголок и сидит там, как мышка. Хочется ей молочка-то, а помнит мамины слова, что братик без молочка помереть может, и молчит, не каючит, только слюнки глотает. Ох, время голодное было! Нынче тоже не пожирешь, но куда получше, чем в сорок шестой или сорок седьмом. А вот злых тогда было меньше, совестливей были люди. А что сейчас не достает? Марья Александровна на капитализм пеняет, по телевизору же разные профессора, наверное, уж не глу-

пей ее, подробно разъясняют, что капитализм тут не причем, они куда как хорошо жили в России до революции, даже зерно за границу продавали. Правда, она при том хорошем капитализме только денек жила. «Ровесница Октября» — муж называл ее в шутку, и праздники октябрьские они три дня справляли на славу.

От воспоминаний того да этого совсем размягчилась, но спохватилась — «ой, чего это я рассиделась, ведь и магазины до перерыва обойти не успею, а надо и в гастроном, и в булочную, и в овощной!». Картошку вчера на обед варила, обнаружила, что забыла про свеклу, она уже жухнуть начала, чтоб ни пропала, надо борщ сварить, а капуста нет.

И надо же как удачно — в булочной при ней хлеб разгружали, еще тепленький был. И в гастрономе повезло — подсолнечное давали — светлое, без осадка, хорошо, что литровую бутылку прихватила. Масло бойко у нее идет, все жаренье на нем. В мясной отдел она давно уж не заглядывает: цены кусаются, и в ее преклонном возрасте, врач говорит, мясо есть вредно. Конечно, лукавит, мама, покойница, до восьмидесяти пяти лет дожила, а скоромное даже в великий пост употребляла. «Болящим и путешествующим, дозволено, а у меня хворей не сосчитать», — извинялась она.

Увидала в гастрономе, с лотка ножки куриные заграничные продают, не удержалась, купила. Расход, хоть и непредвиденный, но оправдает себя. Из ножек четыре кастрюльки бульона у нее получается. Засыплешь его вермишелькой или рисом — вот и супчик тебе, и диетический и вкусный. Кастрюльки ей на три дня хватает, если, конечно, Марья Александровна не загля-

нет в гости как раз к обеду — есть у той такая привычка, случайная или, может, специально подгадывает.

А вот в овощном не повезло, капуста не оказалось в продаже. «Спohватилась, мамаша! — присвистнул продавец, молодой парень с нагловатой ухмылкой. — Лето ж уже, а ты все старую ищешь. Вон молодой навалом, выбирай любой вилок». «Да мне для борща надо, — объяснила ему. — Тут требуется, чтоб качан был крепкий, хрустящий. А что лето, так, помню, в прошлом году после Троицы вы еще старой капустой торговали». «Скажи лучше, не для твоего кошелька наш товар», — хмыкнул продавец и повернулся к следующему покупателю, «Бесстыжие твои глаза, — подумала с обидой, — нашел чем попрекнуть старуху. А борщ настоящий, кто понимает, он из старой капусты готовится, молодая, та на щи лишь годится». Но вслух ничего не сказала. Если нет у человека к тебе расположения, что ему ни толкуй, он все равно при своем мнении останется.

Из овощного вышла, вспомнила, что на троллейбусном кругу базарчик стихийный образовался. Больше там бананами да другими заграничными фруктами торгуют, но, видела она, и наши овощи тоже лежат, безусловно, цены дороже магазинных, но раз уж нацелилась на этот борщ, придется раскошелиться немножко. На кругу с лотков только молодой капустой торговали, она уж расстроилась совсем да вдруг углядела, что за крайним киоском женщина ее возраста, то есть такая же старуха, на деревянном тарном ящике овощи вроде раскладывает — морковь, чеснок, лук репчатый, и капуста у нее найдется? И точно: когда уж подходила к ней, вытащила та из кошелки кочешок, беленький, ак-

куратный и размером маленький, для нее в самый раз. По всему видно, не со своего огорода продукция, а купленная в магазине, но женщина потрудились, морковку чистенько перемила, у капусты гнильцу на листочках срезала, так что не спекулянтский у нее барыш, не то что у тех, кто водкой у метро торгует. И цену за капусту назначила она божескую и за покупку поблагодарила с поклоном. Дома денежки оставшиеся пересчитала, сама себя пожурит: «Ой, покутила, Тамара Петровна!» Но расстраиваться особенно не стала — все покупки нужные, а до пенсии каких-нибудь пять дней осталось, проживем! А борщок завтра должен получиться на славу. Может, Марью Александровну на него специально пригласить?

После обеда, только посуду перемила, хотела приступить, кроссворд поотгадывать — звонок в дверь. Думал: Марья Александровна, не спросила даже «кто там?», а оказалось девица какая-то размалеванная, у блузочки вырез чуть ли не до пупка, груди почти целиком наружу, а юбочка еле-еле срамоту прикрывает. «Вы, — Тамара Петровна?» — спрашивает. — Я от Вики». У нее аж сердце зашло от радости. За полтора года всего два письмеца коротких да три открыточки — новогоднюю, к женскому дню и ко дню рождения — получила от внучки. А тут живой человек, конечно, подробней засвидетельствует, как Викочка устроилась, ладно ли с работой, собирается ли бабушку навестить, а, может, и насовсем возвратится.

Только девица, Мариной она назвалась, к душевному обстоятельному разговору склонности не проявила. Я, говорит, сама из Тамбова и вечером уже уезжаю,

а мне еще в три адреса надо. А Вика ваша в полном порядке, мы с ней вдвоем квартиру снимаем, купили машину, пока одну на двоих. Насчет фотомоделей, вы говорите, так нас обманули, работаем в ночном клубе, и не в Париже, как мы думали, а в Марселе. Но это город большой, веселый, вроде нашей Одессы, и русских часто можно встретить — туристов или моряков.

Расстроила ее эта Марина своим рассказом немножко, обманула, значит, девушек рекламная газетка, а потом успокоила себя: в ночном клубе тоже, наверно, интересно работать. Вот недавно по телевизору какой-то наш ночной клуб показывали, так там и артисты знаменитые, и писатели, и даже помощник президента. Как знать, может, и Викочке удача выпадет, познакомится с каким-нибудь известным французом. Высказала свое соображение Марине, та только хихикнула. Потом посерьезнела и сказала, что у Вики уже есть «лямур», то есть по-нашему ухажер, в сумочке с подарками, что она передает, должна быть их фотография.

На фото внука удачно получилась: красивая, улыбается, платьице по фигурке и вполне скромное, туфли-лодочки на ногах. А мужчина, что за плечико ее обнимает, смотрит серьезно. Ростом, пожалуй, чуть ниже Вики, лицо круглое, смуглое, усы черные ниточкой. Поинтересовалась, как зовут его. Оказалось, Ахмедом. «Ой, он что, тоже из наших, из чучмеков?» — вырвалось невольно. Марина прям зашлась от смеха: «Ну, вы, бабуля, рассмешили меня. Во Фракции чучмеков нет, а Ахмед родом из Алжира, потому и смуглый. А мужчина он серьезный, владелец бистро, то есть кафе, где быстро обслуживают».

Да, еще о многом хотелось расспросить Викину подружку, но та от чая категорически отказалась, повторила: «все у Вики нормально, не волнуйтесь», на прощанье на французский манер «адью» сказала и побежала, только каблучки по ступенькам застучали, будто на барабане дробь отбивают.

Подарков внучка целую кучу ей прислала, а по делу лишь часики ей сгодятся да кофточка одна, шерстяная, бежевого цвета, остальные три больно пестрые, и шарфики разноцветные ей ни к чему и уж совсем не для ее возраста майки с короткими рукавами и с надписями на спине. А что там написано, может, озорство какое? Подумала было: «Ой, глупенькая у меня внучка», а когда на самом днище сумки открытку обнаружила и прочитала ее, то признала, что это ее старые мозги плохо соображают. «Дорогая бабулечка! — написала Вика своим аккуратным крупным почерком. — Маринке, которая к тебе придет, совершенно неожиданно представился случай слетать в Россию. Поэтому посылку, собирала в страшной спешке. Многое тебе не подойдет, но вещи можно продать за приличную цену, они практически неношеные, а на французские ярлыки у вас, я знаю, клюет молодежь. У меня все окей! Подробности расскажет Маринка. Может, и мне удастся выбраться на недельку в Москву, но это только на Рождество. Жди! Привет всем родным и знакомым. Крепко целую. Вика».

На сердце приятно стало от внучкиной заботливости, но продавать ничего она, конечно, не будет, еще примут за спекулянтку. А вот Колюшка приедет погостить, она ему и передаст для детишек эти маечки, то-то

для них будет радость получить такой шикарный подарок от двоюродной сестрички!

После ужина села письмо сыну писать, длинным оно получилось, на целых пять тетрадных страничек. Оно и понятно, день сегодняшний описать и то сколько событий! Так писаниной увлеклась, что и про кроссворд забыла и про телевизор, включила его, когда уже «Вести» заканчивались. Так что про военные действия, про беженцев, невзгоды, забастовки и другие напасти — про них всегда вначале сообщают — она ничего и не услышала. И слава Богу! А то ляжет спать, а мысли гнетут; жалко мальчиков убитых, и родителей их, и людей, или что без крова остались и бедствуют без зарплаты, как ее Колюшка.

Засыпала с улыбкой. Больно удачный день выдался. Ни одной даже мелкой неприятности. А что без борща желанного останется, потому как беленький кочан весь внутри окажется тлей порченный, обнаружит Тамара Петровна только завтра.

КОНТРОЛЕР

Как всегда в это время, автобус был набит битком, и Юрий Всеволодович клял себя, что поленился и не прошел одну остановку до вокзала — там конечная, и можно было бы спокойно сесть на двенадцатый, который довозит почти что до дома. Решил выгадать каких-нибудь десяток минут и вот теперь мучайся при такой жаре, — обещали днем двадцать восемь — тридцать, но и к вечеру не меньше держится, — ехать в переполненном автобусе — наказание, хуже не придумаешь. Чувствует: капля пота, крупная, наверное, с горошину, поползла по лбу, потом медленно скатилась на нос, потом на щеку и остановилась над верхней губой. Дернул головой, пытаюсь стряхнуть ее, — безрезультатно, пришлось слизывать кончиком языка. Со стороны зрелище комическое, а может и просто противное, потому как пожилой мужик, к которому оказался притиснутым живот к животу, смотрит на него с брезгливой усмешкой.

Автобус затормозил у светофора. Плотная пассажиро-молекула, образовавшаяся на задней площадке, на мгновение расщепилась на отдельные атомы, и Юрию Всеволодовичу удалось согнуть руку и выставить впереди себя портфель, так что между ним и соседом теперь был небольшой зазор — все поудобнее стоять. Зеленый долго не зажигался, и взгляд визави постепенно из брезгливого превратился в осуждающий и даже презрительный.

«Чего это он на меня так уставился? — недоуменно думал Юрий Всеволодович. — Неужели от селедки за-

пах? А так испачкать не должна, жирная, но в полиэтиленовом пакете». На работе сегодня давали заказы. На редкость хороший ассортимент — килограмм сахара, банка венгерских маринованных огурцов, пачка вермишели яичной, триста граммов сыра, ну и довеском полкило селедки иваси, хотя ее и так в магазинах навалом. Селедку Юрий Всеволодович предусмотрительно еще в три слоя газеткой обернул. Только вдруг в этой давке упаковка все-таки повредилась? Он скосил вниз глаза, чтобы разглядеть, каково там состояние авоськи с заказом, но левая рука просматривалась только до локтя, а ниже пятнулся красно-желтым сарафан дородной дамочки, которая, когда штурмовали автобус, была впереди, а сейчас ее мягкое плечо упиралось Юрию Всеволодовичу в лопатку. Тогда он осторожно шмыгнул пару раз носом — никакого запаха не почувствовал.

«Значит, не селедка его раздражает. Чего ж это он? Ну просто испепеляет взглядом. Может, на ногу ему наступил? Неприятно ехать с таким типом. Сойти, что ли, у вокзала, пересесть на двенадцатый? Благо, билет еще не прокомпостировал. Да и в этой давке как его прокомпостируешь?». А может, раз уж сел, не стоит пересаживаться, еще неизвестно, сколько двенадцатого придется ждать...»

Наконец автобус тронулся, и тут почему-то Юрий Всеволодович высказался вслух, что было совсем не в его привычках:

— Ну, слава Богу, поехали. И когда у нас транспорт наладится? Только обещают...

Хотя произносились эти слова вроде бы так, в пространство, но рассчитаны были на то, чтобы хоть как-то

смягчить недоброжелательного соседа. Мол, видите, не вам одному эта поездка в тягость, так что не надо злиться па ни в чем неповинных ближних. Однако большие, чуть на выкате коричневые глаза хмурого мужика остались по-прежнему суровы.

«Ну, и черт с тобой! Стой и злись! Видно такой уж характер, брюзга и человеконенавистник. Вот, поди, жене с ним весело. А скорее — старый холостяк...»

Тут нелестные размышления Юрия Всеволодовича о случайном попутчике были прерваны. Автобус остановился, двери, натужно пошипев, отворились, и пассажиры с оханьем и руганью стали выбираться на свободу. Слепая стихия раза два крутанула Юрия Всеволодовича вокруг своей оси, подтащила к ступенькам, но он исхитрился той рукой, что держала авоську, ухватиться за поручень и остаться на площадке. Правда, радость от этой маленькой победы была омрачена грубым высказыванием одного из жаждущих сойти пассажиров:

— Вот лопух! Слез бы сначала со всеми, а потом обратно залез. О себе лишь думают, интеллигенция вшивая!

«Точно, «интеллигенция» стало у нас ругательным словом. Только как он определил мою принадлежность к ней? Раньше приметамы были шляпа и очки — «а еще шляпу напялил», «а еще в очках»... А-а-а, портфель же у меня»...

Меж тем высадка закончилась, село же всего человека три-четыре — видно, только что отошел двенадцатый. В автобусе стало совсем просторно, и можно было облегченно вздохнуть. Юрий Всеволодович аккуратно

умостил портфель между ног, переложил авоську в правую руку, вытащил платок, обтер лицо и шею. Потом оглядел заказ, остался удовлетворен, что он в целости и сохранности, снова переложил авоську из руки в руку, намереваясь достать из заднего кармана проездные талончики. И тут от поручня отлепился тот самый хмурый мужик, сделал шаг к Юрию Всеволодовичу и тусклым голосом произнес:

— Ваш билет, гражданин?

Юрий Всеволодович вздрогнул и, виновато улыбаясь, вытащил сложенные в гармошку талоны, стал отрывать один. Движения были какие-то суетливые, да еще авоська мешала.

— Сейчас прокомпостирую, — тихо сказал он, чувствуя, как краснеет, и поспешил объяснить. — Я как раз полез за билетами, а тут и вы...

— Теперь уж можете и не спешить, гражданин, — ухмыльнулся доселе хмурый мужик, столь неожиданно для Юрия Всеволодовича оказавшийся контролером. — Теперь штрафик вам придется заплатить. Пятачок хотели сэкономить, а потеряете три рубля.

— Да, что вы, ей-богу, — вконец смутился Юрий Всеволодович. — И не думал я ничего экономить. Честное слово, как раз и собирался сейчас прокомпостировать этот несчастный билет.

— Поздно спохватились, — продолжая ухмыляться, но с некоторым даже сочувствием, как показалось Юрию Всеволодовичу, сказал контролер. — Остановочку-то вы уже проехали, а билет за это время не заблагорассудились передать для пробивки, так что по существующим правилам — хотите полюбопытствовать, они у

кабины водителя на всеобщее обозрение вывешены — считаетесь вы, гражданин, безбилетником.

— Ну, товарищ контролер, — протянул Юрий Всеволодович и сам устыдился, что говорит заискивающим тоном, будто действительно виноват, но жалобную интонацию тем не менее сохранил. — Товарищ контролер, вы же видели, такая давка была, что я просто руку не мог засунуть за этими билетами.

— Несolidно, гражданин, — покачал головой контролер, и прежняя суровость появилась в его коричневом взгляде. — Я же всю дорогу рядом с вами стоял, подсказывал даже глазами, что нехорошо без билета ехать, а вы, как ни в чем не бывало, спокойненько стояли. Еще и транспорт даже не постыдились покритиковать...

«Так вот почему он на меня так вылупился. Подсказывал, значит. Экая забота! Нет, чтоб вслух сказать: «передавайте билеты!» Впрочем, наивно этого ждать от контролера. Его задача как раз прищучить «зайца», взять его с поличным. И все равно, ну нечестно, нечестно это! Ведь хотел же я взять билет. Конечно, была мыслишка остановку «зайцем» проехать. Так оно, действительно, вынуждено. В такой давке как его проком-постируешь...»

— Нечестно это, вы же видели, какая давка была, а стало свободнее, я сразу и полез в карман за билетом, — почти шепотом проговорил Юрий Всеволодович, чувствуя спиной осуждающие взгляды пассажиров.

«Ну, и люди! Хоть бы поддержал кто. Хоть бы возмутился кто, что из-за этих давков в автобусах каждый поневоле может попасть в эту идиотскую ситуацию...»

— Вам ли говорить о честности? — не принимая доверительного тона, предложенного Юрием Всеволодовичем, нарочито громко сказал контролер. — На пятчок совесть свою променяли. Государство обмануть хотели. Оно богатое у нас, не обеднеет. А оно-то — газеты читаете? — еще чуть-чуть и в трубу вылетит. Из-за таких вот «честных»...

«Вот черт, со стыда здесь умрешь. Ишь как разошелся, моралист! Заплатить скорей, только чтоб отвязался... У-уф, а ведь трешника-то не наберется. Точно, когда рассчитывался за заказ, осталось, ведь пересчитал до копейки, два шестьдесят шесть. Что ж теперь делать?..»

— Извините, трех рублей у меня нет, — совсем сконфузившись, пробормотал Юрий Всеволодович. — Поистратился, знаете ли. — Он кивнул на авоську.

— Ну что ж! — контролер вроде бы даже обрадовался. — Сейчас на остановочке выйдем и пройдем в милицию, там штрафчик и оформим.

«Нет, какая же он сволочь! Ведь измывается-то как надо мной сладострастно. Глазки масляными стали. Улыбается. Наверное, передовик в своей сфере. Ударник»,

— План на мне хотите выполнить? — уже не сдерживаясь, с ехидцей спросил Юрий Всеволодович.

— Э-э, да вы вижу из злонамеренных, — посуровел контролер. — Надеюсь, совесть у вас заговорит, а вы оскорбить пытаетесь. Между прочим, у нас пока еще плановое хозяйство в стране. А я, если это вас так интересует, свои планы давно уже выполнил. По всем пока-

зателям. Так что давайте выйдем, а в милиции можете продолжить свои насмешки.

«Действительно выйти надо, а то вон все глазают на меня. Как же — развлечение! С поличным поймали». Занятно посмотреть, как человека заставляют унижаться. Выйдем — и драпану от него. А что? Да нет, глупость, конечно, это. Ему хоть и лет шестьдесят, наверное, но он вон какой поджарый, видно, зарядочку делает, может, и бегом трусцой увлекается, куда мне с моим животиком. И смех и грех! И выхода никакого нет».

Когда сошли с автобуса, контролер довольно жестко взял Юрия Всеволодовича за руку, и не успел тот опомниться, буквально выхватил у него авоську,

— Пойдите, в чем дело? — ошарашено спросил Юрий Всеволодович»

— Да так будет надежней, — осклабился своей гадкой ухмылкой контролер» — Чтоб не драпанули от меня. Доверия, извините, к вам нету.

«Ну это уж слишком! Но не драться же с ним? Господи, какая глупость! Дать бы по этой тупой харе. Нет, не смогу. «Вшивый интеллигент» — правильное определение...»

— Знаете, товарищ контролер, — просяще сказал Юрий Всеволодович, — будьте все-таки человеком. Ну, давайте отдам я вам два шестьдесят шесть — ей-богу, больше нет — ну зачем же в милицию? Да и дома меня ждут. С сыном хотел в кино сходить. Обещал ему.

«Чего это я про сына? Стыдно врать, но как его, гада, разжалобить, чтоб вошел в положение?».

— Да, ну вы и фрукт! — протянул контролер. — Взятку мне предлагаете? Ваша совесть, как я понимаю,

пятачок стоит. А мою, значит, вы в два шестьдесят шесть оцениваете. Извините, дешево. Хотя, смотрю, вы человек не жадный. Другие больше рубля не предлагают. Только ведь не в деньгах дело. Мне совесть вашу пробудить надо.

Деньги бы я взял — значит, и я такой, как вы. Значит, все мы одним миром мазаны. Значит, обманывай дальше. Пока снова не попадешься. Потом снова откупишься. Не-е-т, у меня не откупишься. Я вам урок нравственности сполна преподам. Чтоб перед сыном впредь никогда не было стыдно...

«Какими высокими словами шпарит! «Нравственность», «совесть», Мужик-то непростой. И говорит как-то по-книжному. Или по-газетному? Отставник, наверное...»

— А сыночку-то, я спрашиваю, сколько лет? — перебил мысли Юрия Всеволодовича вопрос контролера.

— Десять. В пятый класс перешел, — обрадовано ответил Юрий Всеволодович, услышав в голосе контролера доброжелательные нотки.

— Так-так, десять, — покачал головой контролер. — В какое же кино вы собрались, если дети до шестнадцати лет на вечерние сеансы не допускаются? Отцовскими чувствами своими хотели меня разжалобить? Не хорошо...

Минуты три шли молча.

«Действительно, хватит перед ним заискивать. Пошел он к черту, лупоглазый! И чего я унижаюсь, вру? Ну, оштрафуют. Бог с ним, сколько там возьмут в милиции? Наверное, не три рубля, ну, червонец, не больше. Обидно ни за что, ни про что платить, но переживем.

Только ведь, черт, на работу могут сообщить. Этот уж позаботиться — ишь глазища-то так и горят ненавистью. Ну, а в отделе, конечно, порадуются. Особенно Лариса Викторовна. Ее хлебом не корми, дай повод только чье-нибудь персональное дело обсудить. Принародно покопаться в чужом бельешке. А тут: «наш интеллигентный замначальника оказывается «зайцем» ездит». Да, такого еще в нашем КБ не было. А что, ведь к ней как профоргу «телега» наверняка попадет. Наши кадровики в отдел направят, Андрей Андреевич боится, что я его подсиживаю, поэтому в ящик ее не положит, пусть маленькое пятнышко, но будет на мне, все ему спокойнее. Нет, ну что это я какую-то гнусную философию развожу. Причем здесь Андрей Андреевич, Лариса Викторовна? Надо быть выше их пошлых оценок Я — без вины виноватый, и все, и никаких оправданий, никаких.

— Ну, инженеры — народ тоже хлипкий, — без осуждения, а просто, как факт констатировал, сказал контролер. — Наставник мой Борис Захарович не очень высоко их ценил. А тот, значит, врач, лет сорока был, вроде вас, полненький тоже, так при первом же допросе, что, говорит, скажете, то и признаю. Ручонки дрожат, глазки умоляюще смотрят, голосок такой жалобный, как вы со мной поначалу говорили, думаю, как бы не обделался. Он почему так сразу раскололся? Потому что вину свою чувствовал. Конечно, не в том конкретно, что ему вменялось, а внутреннюю свою вину. Сейчас вот вы журнальчики читаете, там пишут: «враги народа» — это выдумка, мол, напраслина на людей. А мои трое крестников, да и остальные все, кроме незначительных ошибок — они в любом деле есть — истинные враги наро-

да. И здесь один только признак — если единственным и неповторимым себя считаешь, индивидом, так сказать, значит, откололся от трудящейся массы, от народа, значит, враг его. Совершил преступление или нет — неважно. Важно, что мог совершить. Потому что в душе гнильца, червоточина. А это уж каждый — извините, повторюсь за тем работягой — каждый вшивый интеллигент считает себя пупом земли. Ах, ты пуп земли, говорю, предъяви-ка тогда билет. А предъявить-то нечего. Тут поневоле любой протокол подпишешь. Встречал я потом того врачешку.

Кланялся мне даже, А я уже не у дел был. Почему ж кланялся? Потому что и он знал, и я знал, что душонка-то у него перед народом не чиста. Да, товарищ дорогой, совесть виноватую выявить — вот так мы понимали тогда свою задачу. А человек с виноватой совестью, пусть он даже сам себе в этом не признается, он как бацилла, он других заражает: я, мол, не такой, как все, и ты будь не таким. Нет, милоч, говорю, будь любезен быть таким, как все...

«Со стороны посмотреть: идут двое сослуживцев, обсуждают какую-то проблему. Или даже отец сыну что-то объясняет, А ведь мне надо не слушать, а взять его за шкирку да тряхнуть, как следует. Только не могу я этого сделать. Как не могу в глаза сказать Андрею Андреевичу, что он не на своем месте, как не могу сказать Ларисе Викторовне, что презираю ее за сплетни и интриги. Слюнтяй и тряпка! И ничего не могу с собой сделать. Действительно, вшивый интеллигент. И прав, ух как прав, этот садист, читающий мне мораль, виноватая у меня совесть. Ведь мысль-то была, была мыслишка —

что уж себе врать? — не брать билета... К милиции, кажется, подходим. Но глупо все-таки, до чего глупо все это, и контролер, и его дурацкий монолог, и сейчас еще будет объяснение в милиции, и, конечно, я не смогу вести себя так, как положено, с самоуважением, с достоинством, нет, я непременно оробею, и старшина, или кто там, конечно, поймет, что я виноват, и прочитает в моих глазах: «простите, дяденьки, я больше не буду...»

Когда до милиции оставалось еще два дома, контролер остановился и отдал авоську.

— А милиция? — недоуменно спросил Юрий Всеволодович.

— А милицией я вас просто попугал. — Я ж ведь никакой не контролер. Вы даже удостоверения у меня не удосужились спросить. А безбилетников выявляю по собственной, так сказать, инициативе. Вижу в этом свой общественный долг. И оштрафовать я никого не могу. А вот побеседовать с умным интеллигентным человеком, заставить его покопаться в своей трюхе, почувствовать свою вину перед народом, обществом, государством, это я с большой охотой. Ну, а вас, я виду немножко проняло, так что можно и расставаться».

Контролер кивнул Юрию Всеволодовичу и вошел в подъезд дома.

Юрий Всеволодович стоял, опустив голову, и в голове этой крутились мысли, что надо побежать за контролером, ударить его, или хотя бы сказать что-нибудь злое, уничтожающее.

Но, конечно же, он не бросился догонять обидчика, а медленно пошел вперед, все так же понуриив голову и чуть не плача. Равнодушные люди шли навстречу ему и

обгоняли его. Они не видели, что человек унижен и растоптан. Если же кто и видел, тот старался ускорить шаг.

Но потом целую неделю Юрий Всеволодович ездил в автобусе без билета.

ПОБИРУШКА

Святочный рассказ

— Здорово, брат! Снова заступил на вахту?

Федя и не заметил, как подошел Иннокентий Васильевич. Очень уж был увлечен подсчетом конфет и печенья, которых надавали ему сегодня сердобольные отдыхающие. Девять конфет, да еще одну сразу съел, двенадцать печенюц — пожалуй, это для него рекорд. А ломтей белого хлеба он даже считать не стал, сложить их рядком, точно цельный батон получится. Жалко вот, не давали на обед колбасы. Ему б обязательно перепахло несколько кусочков. Есть тетки, которые колбасу не едят, думают, что от нее сильнее болеть будут. Мамка говорит, это они с жиру бесятся. Она-то сама колбасу здорово уважает. Винцо, говорит, и конфеткой зажевать можно, а под водочку нет ничего лучше колбаски да огурчиков соленых. Только накрылись огурчики. Последние две трехлитровые банки бабушка берегла на Великий пост, но, как ни прятала, а мамка нашла их и на базар отнесла, продала по дешевке, чтоб водки купить. Теперь картошку пустую едят. С огурцами она куда вкуснее. «Меньше сожрете, — злится мамка. — А ныть будете, и картошку продам». С нее станется. Как водки ей захочется, все продаст без разбору. В прошлом году телевизор продала, а осенью — бабушкину новую кофту, которую та на смерть отложила, и коврик, который папка из Чечни привез. Он там воевал не в эту войну, а в другую, когда Федя еще во втором классе учился. Зна-

чит, уже четыре года прошло, как папка слинял от них. Он после Чечни всего месяц в семье прожил, а потом с мамкой поругался и перебрался жить к мамкиной подруге тете Гале. Они с мамкой и теперь дружат, вместе водку пьют. Когда у мамки нет никаких финансов, она идет к тете Гале и та ее угощает. И папка с ними пьет. Но он после контузии много пить не может. Сначала ему от водки легчает, но, если переберет, голова начинает болеть пуще прежнего. А мамка, когда выпьет, доброй становится, ласковой. Гладит Федю по голове, целует в макушку и плачет в три ручья:

— Ой, сыночек, прости меня непутевую! Ой, стыдно мне перед людьми, что заставила тебя стать побирешкой!

И ничего она его не заставляла. Это Олька его уговорила, с которой они за одной партой сидят. Олька уже второй год побирается. У нее мать тоже пьяница, а отца вообще никогда не было, и бабушки нет. Ей совсем плохо приходится. Но она не жадная, конфетами с ним поделилась несколько раз. А когда он спросил, откуда у нее все время конфеты, она по секрету рассказала, как они ей достаются, и предложила: «Давай вместе побираться!».

Федя сначала отказался — стыдно было, а потом, когда мамка бабушкину пенсию украла и всю пропила и есть совсем нечего стало, он согласился. Олька его научила, как попрошайничать надо: «Никаких особенных слов не говори, а просто, когда санаторники идут в столовую, проси их жалобно: «Вынесите, пожалуйста, хлеба!». Вот и все. А если начнут спрашивать, почему побирешься, отвечай честно: «У меня мамка пьет. А папка

от нас ушел. А бабушка болеет все время». Когда правду говоришь и ничего не скрываешь, люди тебе больше сочувствуют».

Почти никто из отдыхающих ни о чем его и не спрашивает. Такие любопытные, как Иннокентий Васильевич, даже не в каждом заезде попадают. После обеда вынесет кто хлеба, кто конфету, кто яблоко, и подадут молча, а вот, если котлету надкусанную, тогда спросят: «Не побрезгуешь, мальчик? А то вон отдай собачке». Он не брезгливый, котлету сам тут же съедает, до дома не доносит. Бабушка говорит, что ему лучше всех питаться положено, потому что, во-первых, он растет, а вон какой худющий, а во-вторых, получается, что теперь он главный добытчик и ему нельзя болеть, а сытого человека никакая хворь не возьмет.

Папка им совсем не помогает. Он после контузии работать не может, а пенсия у него маленькая. Правда, как инвалид военных действий папка имеет право бесплатно на автобусе ездить и за лекарства не платить ни копейки. Только на автобусе ему ездить никуда не надо, а лекарств, которые ему нужны, в аптеке никогда не бывает. Тетя Галя, не то что мамка, работает санитаркой в больнице, но платят ей гроши, а у нее на шее двое девчонок: Танька, которая во второй класс ходит, и Лидка, которой всего четыре года. Так что папкина пенсия вся на них уходит, а на родного сына папка денег не дает, вот только этой зимой, когда грянули сильные морозы, купил ему теплые сапоги «аляски», почти новые. В них больше часа простоять можно, пока все санаторники не пообедают.

После того, как Федя побираться начал, они лучше жить стали. Хлеб теперь всегда есть и сладкое к чаю. Только чай у них не настоящий, а из трав, которые бабушка летом насобирала и высушила. Она говорит, что такой чай полезней магазинного. Полезней-то он, может, и полезней, но магазинный вкусней.

Некоторые отдыхающие не верят, что он побирается, чтобы подкормить себя и мамку с бабушкой. Вчера вышли из столовой две тетки, еще не старые — губы помадой намазаны, и обе толстые. Одна сунула Федю горбушку батона, а другая зашипела, как змея: «Напрасно, вы, Тамара Петровна, поощряете попрошаек. Думаете, мальчишка голодает? Как бы не так. Наверняка ваше подаяние пойдет поросенку. А на рынке за свинину они потом сколько с вас сдерут, а?»

Но таких противных и злых отдыхающих мало. Больше добрых. А еще больше таких, которые на Федю с Ольгой внимания не обращают. Как будто они пустое место. Их санаторий, он слышал, рассчитан на триста сорок человек. Вот если бы каждый выносил для него по кусочку хлеба, тогда бы можно было и поросенка держать. Только ведь и Ольке тоже полагалось бы по кусочку, а шестьсот восемьдесят кусочков хлеба — такую большую недостачу сразу бы заметили официантки, они тоже хлеб домой таскают, и, наверное, не только хлеб, всегда с работы с большими сумками идут, сам видел.

А кроме официанток, конечно, подняла бы вой гардеробщица тетя Зося. Она раньше вместе с мамкой на фабрике в одном цехе работала. А когда фабрику закрыли, мамка без работы осталась, а тетя Зося в санато-

рий устроилась пальто выдавать. Когда Олька одна побиралась, тетя Зося ее не прогоняла, а когда Федя появился, стала свой порядок наводить. Выскочит из дверей и кричит: «А ну быстро убирайтесь отсюда! Не позорьте наш санаторий!» А чем они позорят? Они не ругаются, не пристают к отдыхающим, не дергают их за рукав, как цыганята на вокзале, а просто говорят совсем негромко: «Вынесите, пожалуйста, хлеба!» Федя догадывается, почему тетя Зося их гоняет. Мамка ей долг не отдает, вот она на нем зло и вымещает.

Но тете Зосе за время обеда удается накричать на них всего один-два раза и то не каждый день, потому что отдыхающие приходят в столовую кто к открытию, а кто с большим опозданием, и одни едят быстро, а другие пообедают и еще лясы точат, поэтому гардеробщице нельзя надолго бросать свое место. И еще, конечно, она боится, что пока с побирушками воюет, у нее могут дорогую дубленку украсть или шубу. Среди теток, которые приезжают сюда лечиться, много таких, которые богато одеваются.

Федя никак понять не может, чего они, если больные, так наряжаются. Олька ему объяснила, что просто все женщины так устроены: им все время хочется нравиться мужчинам, если даже они и пенсионерки. Только он считает, что в их санаторий приезжают вовсе не больные, а просто притворяются они больными. Вон бабушка болеет, так она с кровати еле-еле встает, чтоб в уборную сходить, а для санаторных три раза в неделю танцы устраивают. Федя в окошко заглядывал, видел, как они отплясывают, аж пыль стоит. А потом они на лодках катаются и чуть подальше от санатория отплы-

вут, высаживаются на крутой берег Кувшинки и там устраивают пивкники. Бутылок после них остается ужас. Какие ж они больные?

В этот заезд из трехсот сорока человек настоящих больных всего-то, наверное, двое. Их сразу угадаешь — они с палочками ходят: одна тетка, совсем молодая, моложе мамки, и Иннокентий Васильевич, он уже седой, но, как сам говорит, до пенсионного рубежа ему еще далеко. Он с гор на лыжах катался и ногу сломал. Иннокентий Васильевич — дядька добрый, всегда что-нибудь выносит ему с обеда. Но уж очень расспрашивать обо всем любит. И какие отметки сегодня получил, и чем бабушка болеет, и похмелялась ли утром мамка. И еще он любит советы давать. А когда с Федей говорит, называет его братом. Это у него присловье такое, как у бабушки «голубок».

Когда первый раз Федя у него хлеба поклянчил, Иннокентий Васильевич сперва не понял, что Федя побирается, и спросил удивленно:

— Какого хлеба?

— Лучше белого, — чистосердечно сказал Федя и объяснил. — Если у вас после обеда хлеб на столе останется, вынесите, пожалуйста, кусочек.

— Так ты, брат, нищий что ли? — сделал круглые глаза Иннокентий Васильевич.

— Нет, — обиделся Федя. — Я не нищий. Бабушка говорит, что нищие — это которые у церкви стоят и денег просят, а я побирושка. У нас дома есть нечего, вот я и прошу хлебца.

— Неизбежные издержки реформ, — покачал головой Иннокентий Васильевич и потрепал Федю по плечу.

Тогда, в первый раз, вынес он Феде аж пять батонных кусков и большое яблоко. И стал расспрашивать, как его зовут и «как дошел он до жизни такой». Тот разговор Федя хорошо помнит.

Когда Федя сказал, что его зовут Федей, а фамилия у него Ушаков, Иннокентий Васильевич заулыбался во весь рот:

— Так тебя, брат, наверное, в честь адмирала Ушакова назвали?

— Нет, — ответил Федя. — В честь дедушки. — И спросил. — А кто такой адмирал Ушаков?

— Эх, брат, — огорчился Иннокентий Васильевич.

— Ты, оказывается, даже не знаешь, какую славную фамилию носишь. Федор Ушаков — самый великий русский флотоводец, наш морской Суворов. Ни одного сражения не проиграл. Ты, брат, попроси в библиотеке книжку про своего знаменитого однофамильца, нехорошо быть Иваном, не помнящим родства.

— Меня не Иваном, а Федей зовут, — напомнил Федя. — А в библиотеку меня не записали, потому что там надо залог внести десять рублей, а у мамки лишних денег на всякую ерунду нет. Да у нее вообще никаких денег нет, я же вам рассказывал.

— Книги читать, брат, это не ерунда, — наставительно произнес Иннокентий Васильевич. — Книга — источник знаний. А без знаний в наше время пропадешь. Какие жизненные перспективы могут быть у неуча? Разве что пить начнешь, как твои родители.

— Нет, не начну, — тихо сказал Федя. — Я пьяниц не люблю.

— Дай-то Бог! — вздохнул Иннокентий Васильевич и заковылял в свой корпус.

Сам Иннокентий Васильевич, он потом про себя много Феде рассказывал, читать с детства любил, институт закончил, сейчас работает не где-нибудь, а в мэрии, а это, значит, все время с людьми и тут требуется культурный уровень и широкий кругозор. Конечно, если б Федя был покрепче здоровьем, рассуждал Иннокентий Васильевич, и выше ростом, ему можно было б достичь жизненного успеха через спортивные достижения, скажем, в баскетболе. А вот в шахматы учиться играть ему уже поздно, гроссмейстеры те с пяти-шести лет начинают фигуры двигать. Еще один шанс выбиться в люди в условиях их захолустного городка — сочинять и петь эстрадные песни. Но тут Феде мало что светит, потому что он мотивы плохо запоминает. Так что, если Федя не хочет и дальше зябнуть в бедности, то ему ничего другого не остается, как овладеть знаниями, то есть учиться только на четыре и пять, а у него сплошные тройки. Это, брат, не дело.

Откровенно говоря, Федя слушал наставления Иннокентия Васильевича вполуха. Почти то же самое говорит им каждый день Светлана Георгиевна: «Дети! Чтобы хорошо жить, надо хорошо учиться». Врут они. Вон сосед дядя Паша, уж какой образованный, тоже, как и Иннокентий Васильевич, институт закончил, на мамкиной фабрике старшим мастером был, а сейчас работы приличной никак не может найти, тем и живет, что, ко-

гда ярмарка бывает, помогает торговкам товары разгружать.

Хорошо, что сегодня Иннокентий Васильевич позже всех пообедал. А то, как начнет с ним вести беседы, отдыхающие выходят из столовой, видят, люди разговаривают, и стесняются их отвлекать, все, что прихватили с обеда, Ольке отдают. Но в этот раз Иннокентий Васильевич поговорил с ним совсем немного.

— Ты, брат, извини, — похлопал он Федю по плечу, — что уделю твоей персоне всего несколько минут. Желательно бы поподробнее тебе растолковать принципы выживания в нашей неоднозначной жизни, но зовут неотложные дела. Закончился срок моего пребывания в вашем богоугодном заведении. Завтра рано утром ты в школу, а я на автобус и домой. По традиции устраиваю прощальный банкет. Надо кое-какие покупки сделать. Однако ты мои советы не забывай.

Иннокентий Васильевич помолчал немного, потом расстегнул дубленку, достал из нагрудного кармана пиджака красивый кожаный бумажник, пошелестев деньгами, вытащил червонец и протянул Феде:

— Возьми вот десять рублей. Используй их целевым назначением — как залог для записи в библиотеку. Прочитай обязательно про адмирала Ушакова. А потом и другие полезные книги бери на вооружение. Запасайся, брат, знаниями. Договорились?

— Договорились, — тихо пообещал Федя, хотя уже сразу решил, как потратит деньги. На червонец в киоске, что на базаре, можно купить целую пачку жвачки. Четыре пластинки он сам жевать будет, а одну подарит Ольке. Не пожадничает.

ПАСХАЛЬНЫЕ ЯЙЦА

Художник Петр Леонидович Большаков оказался в психбольнице, что в поселке Выша Рязанской области, по причине весьма прозаической — он спился, и врачи определили, что у него развивается необратимо алкогольное слабоумие, а посему его на всякий случай следует изолировать от общества. Тем более что на момент освидетельствования влачил он неприемлемое, с точки зрения тогдашней общественной морали, существование тунеядца и бродяги, не имеющего на руках хоть какого-нибудь документа, который бы удостоверял сомнительную личность.

Дольше всего, сообщил он мне в одном из писем, отправленных из «Вышской обители», сохранялась у него орденская книжка, где первой записана была самая дорогая для него награда — медаль «За оборону Сталинграда», но книжку эту со злым умыслом вытащил из кармана нечаянно заснувшего на Казанском вокзале художника дежурный сержант милиции, чему свидетелями были многие пассажиры, отказавшиеся, правда, встать на защиту пострадавшего, потому как одновременно с насильственным пробуждением Петра Леонидовича объявили посадку на поезд Москва — Ташкент.

«Но дело совсем не в этом, — объяснял в письме Петр Леонидович, — Они, рас... (тут полностью выписано было его каллиграфическим почерком матерное слово, коим обозначают людей, не имеющих четкой гражданской позиции) с мильтонами никогда связываться не станут. Как, между прочим, и англичане со

своими «бобби». Только англичанин не связывается, потому что он уверен, что «бобби» всегда прав. А наш советский человек боится качать права, потому что мильтон тут же скажет, что у него запах изо рта, а при запахе ничего никому не докажешь...»

Думаю, сделанное Петром Леонидовичем сопоставление довольно убедительно свидетельствует, что вечно затурканные наши врачи с диагнозом, поставленным ему, явно напутали, хотя, конечно же, они могли принять его за диссидента, потому как художник Большаков в минуты трезвости отличался независимостью и парадоксальностью суждений. Так, он смел утверждать, что американец Торо, о таком никто тогда и слыхом не слыхивал, как философ интереснее и глубже, чем секретарь ЦК по идеологии Михаил Андреевич Суслов, а английский маршал Монтгомери внес в нашу общую победу над немцами гораздо больший вклад, чем маршал Брежнев, «хоть и увешай того до самой задницы звездами Героя».

Переписка у нас с Петром Леонидовичем продолжалась несколько лет. К праздникам посылал я ему небольшие посылочки, основным содержимым которых по просьбе адресата был блок сигарет «Дымок», пара пачек чая, конверты, писчая бумага и стержни для шариковой ручки. Видимо, Петр Леонидович переписывался не только со мной, а, может, взялся за мемуары. Жизнь он прожил богатую неординарными событиями — не говоря уже о войне, которую начал в окопах Сталинграда рядовым пехотинцем, а закончил в поверженной Германии личным художником генерала Батова. И в мирной жизни попадал он не раз в серьезные

переделки и даже отсидел два года в колонии общего режима за рукоприкладство при ссоре с соседями. Я присутствовал на том суде и лишний раз смог убедиться, насколько все-таки ясным и логичным умом обладал гражданин Большаков. На традиционный в начале каждого процесса вопрос судьи, не имеется ли у него каких-нибудь оснований для отвода данного состава суда, он резонно ответил, что вопрос этот на редкость глуп, ибо подсудимый видит и судью и народных заседателей первый раз в жизни, а вот когда будет вынесен приговор, тогда и станет ясно, есть ли основания для недоверия судьям или нет.

Последнее письмо от Петра Леонидовича получил я в апреле 1987 года. Ко Дню Победы послал ему очередную посылку с обычным набором предметов, присовокупив плитку шоколада, но недели через две посылка вернулась обратно. Такое случается, когда адресат выбывает в неизвестном направлении. И хотя никакой объяснительной записки почтовика не приложили, я, не получая больше весточек из Выши, пришел к выводу, что Петр Леонидович Большаков отбыл туда, откуда, увы, уже нет возврата. Однако, не располагая официальными данными о его смерти и даже устным сообщением об этом от кого-нибудь из наших общих знакомых, которые еще в последние его годы пребывания в столице, когда он уже являл собой типичного бомжа, потеряли с ним всякую связь, я, подавая в церкви записочки «за упокой», имя Петр пишу только один раз, имея в виду бывшего своего сослуживца и соседа военного журналиста, прошедшего Афганистан, Петю Студеникина, хотя больше думаю в тот момент именно

о Петре Леонидовиче. Если он еще жив, а просто, может, обиделся за что-то на меня и прекратил переписку, то там, наверху, надеюсь, простят мой грех поминать живого, а если уже упокоился, то сделают мне поощение и зачтут сразу для двух душ одно поминание.

Церковь расположена поблизости от моего дома, рядом со станцией метро, остановками трамвая и троллейбусов, так что я, отправляясь куда-нибудь в город, неминуемо прохожу мимо нее, а если учесть, что с недавних пор почти по всему периметру церковной ограды размещаются многочисленные палатки, торгующие разнообразными продуктами, от хлеба насущного до не менее насущной для русского человека водки, то доводится мне видеть старый храм с чуть наклонившейся колокольной и не единожды на дню. Не скажу, что каждый раз, но частенько вспоминается мне тогда художник Большаков, потому что именно он впервые привел меня сюда.

Было это в году семьдесят втором или семьдесят третьем, не позже, ибо в то время я еще жил в другом конце Москвы, и, помню, добирались мы до пункта назначения нестерпимо долго. А может, томительность пути объяснялась тем, что Петр Леонидович находился в состоянии глубокого похмелья, да и я, признаться, был мучим жаждой. Финансов же, необходимых для поправки здоровья, у нас не осталось. Это мы выяснили, как только проснулись, первым же делом. В то время Петру Леонидовичу никто уже не давал в долг. Меня, безусловно, мог выручить кто-нибудь из сослуживцев, но не раньше часов одиннадцати, когда по неписаному

распорядку рабочего дня стекались газетчики в свои редакции. На часах же было только шесть.

Надо сказать, что смотреть на часы с моей стороны было не очень осмотрительно. Петр Леонидович тут же загорелся идеей «толкнуть» их лифтерше, которая по решению общего собрания пайщиков нашего кооперативного дома за дополнительную плату несла свою вахту с самого раннего утра, или обменять на бутылку водки у швейцара ближайшего ресторана «Гавана». После некоторого раздумья я отверг оба эти варианта. Часы у меня, увы, были с дефектом — сломанной минутной стрелкой, так что отличить ее от часовой даже мне не всегда удавалось, и швейцар ресторана, а они, как известно, мужики привередливые, на них уж точно бы не польстился.

Что касается лифтерши, то она по близорукости и свойственной большинству русских старух привычке запасаться абы чем на случай грядущего лихолетья наверняка соблазнилась бы дешевизной, если бы мы запросили за мой повидавший виды, но тем не менее тикающий отчетливо и громко, хронометр цену, равную лишь стоимости бутылки «Московской» у таксистов, продававших ее из-под полы, конечно же, с наценкой, но относительно божеской. Однако эта торговая сделка сразу бы стала известна домовой общественности, а затем и моей жене, которая вот-вот должна была вернуться из командировки. Я же никак не хотел терять в глазах и той и другой репутацию добропорядочного семьянина.

Петр Леонидович с тяжелым вздохом признал мои резоны уважительными. В тоскливом молчании мы выкурили по сигарете, отчего стало уж совсем муторно.

— От судьбы не уйдешь! — философически заметил я, чтобы как-то подбодрить художника, чьи страдания были явно сильнее моих. — Придется часиков пять потерпеть. А пока давай-ка я заварю чаек и поджарю яичницу.

При упоминании этого немудрящего холостяцкого блюда Петр Леонидович неожиданно оживился, и глаза его лихорадочно заблестели.

— Старик! — назидательно проговорил он. — Знаешь, какой самый смертный грех? Уныние! Поверь старому солдату, нет безвыходных положений. Если мы Паулюса в плен взяли, то уж на бутылку как-нибудь сообразим. К черту яичницу! Вари яйца вкрутую! Сколько их у тебя?

— Да, вроде, должен был остаться десяток, — промямлил я, тщетно пытаюсь взять в толк, что же могло так сильно поднять настроение у человека, тяжело страдающего абстинентным синдромом. — Вари сразу все! — приказал Петр Леонидович и, видя мое недоумение, поспешил объяснить. — Забыл, старик, я тебе рассказывал про подарок, что Гонсальес для Игорька из Испании привез?..

Игорек был сыном Петра Леонидовича. После развода «из-за идиотских наших законов, считающих, что всегда права баба, какой бы стервой она ни была» и «редких придурков» — тещи с тестем, «настраивающих несмышленного ребенка против отца, что говорит об их полном педагогическом невежестве», Петр Леонидович

был лишен возможности прямого общения с наследником и подарки ему вынужден был передавать через бывшую жену, которая помимо «стервы» еще именовалась им почему-то «генералом Скобелевым».

С Давидом Гонсальесом Петр Леонидович познакомился в «Янтарной комнате» — так всегда именовали пивнушку у Белорусского вокзала, стены и крыша которой были сделаны из какого-то синтетического материала ядовито желтого цвета. Давид был одним из тех испанских детей, которых приютила Россия, когда республиканцы стали терпеть поражение от генерала Франко. У нас он приобрел специальность инженера, сварливую, но любимую жену и двух дочек, одна из которых уже успела выскочить замуж, так что о возвращении на родину для него не могло быть и речи, хотя тогда, учитывая безупречную служебную характеристику Гонсальеса и его моральную устойчивость, власти разрешали ему раз в год во время отпуска неделю-другую провести в Испании. Из недавней такой поездки привез Давид небольшой сувенирчик для Петра Леонидовича, а вернее для его Игорька — набор переводных картинок, воспроизводивших полотна знаменитых испанских живописцев. Но каким образом эти картинки, которые, видимо, предназначались для украшения тетрадок и других школьных принадлежностей, будут способствовать снятию похмелья, и причем здесь яйца вкрутую, я не в состоянии был уразуметь.

— Все очень просто, старик, — толковывал мне Петр Леонидович, пока я доставал из холодильника яйца и искал чистую кастрюльку для их варки. — У вас в редакции, понятно, одни атеисты, православных празд-

ников не помнят, а то еще в канун Пасхи поглумятся, выполняя заветы Емельяна Ярославского. Сегодня же Светлый четверг, значит, можно еще пасхальные яйца дарить. А у меня в одном храме есть знакомый священник. Он в позапрошлом году просил, чтоб я ему десяток яиц к Пасхе расписал. Что-нибудь из евангельских сюжетов. Он потом своему церковному начальству хотел их презентовать. Без подхалимажа нигде карьеру не сделаешь. Ну, а за труды обещал меня отблагодарить соответственно...

— Пстой! — перебил я горячий монолог Петра Леонидовича. — Я так понимаю, ты хочешь вместо росписи украсить яйца переводными картинками?

— Вот именно! — воскликнул Петр Леонидович, радуясь моей понятливости. — Чего напрягаться, когда старики-испанцы уже постарались. Что Эль Греко, что Мурильо — у них сплошь религиозная тематика. Я еще эти картинки не рассматривал, но уверен, это то, что нам надо.

Он достал из кармана пиджака порядком уже помятый конверт и, вынимая из него по одной переводные картинки, стал раскладывать их на столе. Увы, только две или три из них репродуцировали полотна великих мастеров, имеющих прямое отношение к светлой дате. Наличествовало еще несколько изображений святых, но в основном был представлен жанр портрета. Правда, среди портретируемых преобладали религиозные деятели — папы и епископы.

Петр Леонидович тяжело вздыхал, раскладывая бумажные квадратики и прямоугольнички на две кучки, а потом пополняя меньшую, так чтобы в ней оказалось

ровно десять картинок, соответственно числу варившихся яиц. Однако в конце концов изготовлено было нами только шесть пасхальных сувениров. Два яйца лопнули при варке, что дало основание художнику весьма сурово оценить мои кулинарные способности. Два же других были обронены им на пол по причине произвольного дрожания рук.

Но эти шесть, честное слово, были хороши! Яркие сочные краски — голубые, зеленые, красные — удачно гармонировали с белизной яичной скорлупы, создавая праздничное радостное настроение.

— Ну, думаю, батюшку мы уважим, — с хрустом потирая руки — сухие, жилистые, какими чаще всего и бывают они у людей его профессии, — приговаривал Петр Леонидович, аккуратно укладывая яйца на дно большой дерматиновой сумки, некогда синей, но теперь ставшей бордово-коричневой из-за неоднократного пролития на нее дешевых крепленых вин.

То апрельское утро было под стать нашему настроению. Небо скучного серого цвета. Воздух, пропитанный водяной пылью и бьющийся мелкой дрожью от порывов, хотя и слабого, но холодного ветра. Печальная шеренга выстроившихся вдоль тротуара тополей с культурами обрубленных веток. Час «пик» еще не наступил, и нам пришлось ждать автобуса добрых пятнадцать минут в компании нескольких работяг, кому выпало заступать на раннюю первую смену. Вид у них был сонный, смурной и, я готов был биться об заклад, что почти все они, как и мы, страдали похмельем.

В метро народу уже прибавлялось с каждой минутой, но свободные места нашлись, правда, не рядом, а

наискось, так что переговариваться мы не могли, да и желания не было. Я смотрел на маленькую нахохлившуюся фигурку художника, бережно прижимавшего к животу сумку, где лежала его надежда на облегчение телесных и душевных мук, и тоскливо думал, что чудес не бывает, и что оригинальная идея Петра Леонидовича, которой и я поначалу загорелся, вряд ли окажется плодотворной, настолько она, по трезвому размышлению, дика и нелепа. Похмелье, Мурильо, пасхальные яйца... Бред какой-то! Да и станет ли кто из служителей церкви разговаривать с человеком, от которого за версту разит сногшибательным перегаром.

Пока мы ехали в подземном тепле и уюте, погода наверху ничуть не изменилась — все та же мокрядь с холодным ветерком. Но, думаю, не только она поторавливала Петра Леонидовича. Сразу по выходе из метро он перешел на легкую рысь, и через считанные секунды мы уже были у церковных ворот. Здесь Петр Леонидович оставил меня, благоразумно рассудив, что в моем положении, «как выражался Никита Кукурузов, «подручного партии» не стоит переступать порог храма — «ведь ненароком увидит тебя кто, хрен объяснишь потом своему начальству, что ты не молиться пришел».

Ждать мне пришлось довольно долго, видно, переговоры были нелегкими. Я прикидывал в уме, сколько могут стоить наши пасхальные яйца, и приходил к неутешительному выводу, что при всей их красоте цена им копейки, и тот знакомый художнику поп наверняка поспешит отдать за них нужную нам сумму. Но если даже он и раскошелится, то где сейчас купишь бутылку — алкогольные напитки продаются только с одина-

дцати, а время, когда можно было разжиться спиртным у тех же шоферов такси, мы упустили — они наверняка давно уже распродали дефицитный товар. То ли от этих невеселых размышлений, то ли от холодного ветра похмелье у меня прошло, и теперь лишь чувство товарищества удерживало меня от желания плюнуть на всю эту авантюру и оставить Петра Леонидовича один на один с его проблемами.

Наконец он появился, и по веселому блеску его глаз я понял, что чудо свершилось.

— Порядок! — отвечая на мой немой вопрос, торжественно провозгласил художник и ласково погладил сумку. — Живем, старина!

Он распахнул сумку, и я увидел стоящую торчком «дальнобойную», то есть емкостью в 0,8 литра, бутылку кагора. А к ней притулились наши пасхальные яйца — все шесть.

— А как тебе это удалось? — после некоторого столбенения спросил я.

— Видишь ли, старик, — тонкие губы Петра Леонидовича скривились в легкой усмешке. — У вас, молодых, Ярославские да Луначарские отшибли историческую память, а я-то православные требы помню. Чем грешную паству священник причащает? Вином, братец, этим самым кагорчиком. Так что не только у ваших членов Политбюро, а в любой церкви вино всегда есть в наличии. Вот мы им сейчас и причастимся.

— Возражений нет! — с готовностью откликнулся я. — Но объясни все-таки, как так получилось, что бутылку тебе дали, а пасхальных яиц не взяли?

— Ну, поначалу-то у нас натуральный обмен произошел, — чуть смущенно произнес Петр Леонидович. — Батюшка наши сувенирчики взял, вынес мне под рясою этот бутылек и, прощаясь, стал комплименты говорить. Мол, очень тонкая и красочная работа. И тут черт меня дернул за язык признаться, что это собственно не я, а старики-испанцы постарались. Ну, дед прямо позеленел. Испанцы-то, говорит, они ж католики, злейшие, можно сказать, враги нашей церкви, а ты мне их подсовываешь. Хорош, дескать, был бы он в глазах митрополита, если б ему эти богомерзкие сувенирчики преподнес. Забирай, говорит, яйца обратно, а бутылку, так и быть, оставь себе. Вошел, значит, в мое положение. Они, служители русской церкви, мужики с пониманием и сочувствием к жаждущим...

Закусывать мы начали со «Святого Лаврентия» Франсиско Сурбарана.

Москва, декабрь, 1998 г.

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ

Проснулся я от тихого шепота. Мой сосед, лежащий напротив, Анатолий Егорыч, уткнувшись в стенку, с равными интервалами, примерно в две минуты, повторял какие-то слова, будто начинал молиться и не мог припомнить продолжения. Я прислушался. Было полночь, два других обитателя нашей палаты давно уже крепко спали, на этот раз без обычного храпа, лишь Виктор Васильевич изредка постанывал, так что мне все-таки удалось разобрать, что же шепчет Анатолий Егорыч. А повторял он только два слова: «собачья жизнь». Прошепчет, помолчит и снова: «собачья жизнь». И так раз семь или восемь, пока не заснул.

Небольшого росточка, худенький, с безморщинистым личиком он вполне мог бы сойти за подростка, если бы не обширная лысина, обрамленная венчиком паклеподобных волос. Анатолию Егорычу только две недели назад стукнуло шестьдесят, но на пенсии он уже был четыре года, так как после тяжелого инсульта, называемого им по-старинке «кондратием», установили ему инвалидность с настоящим запретом заниматься как физическим, так и умственным трудом. Вспоминая об этой гуманной рекомендации, он не мог удержаться от ехидного смешка: «Врачи, они, конечно, в институтах обучались, это тебе не бабки-шептуньи, а, хоть и грамотные, тоже глупости молоть горазды. От какого умственного труда хочут они, чтоб я поберегся? Я ж им сообщил, не скрывая, что работал всю жизнь не счетоводом каким умственным, а каменщиком, окромя двух

лет, когда после армии шоферил по комсомольской путевке на целине».

Определяя Анатолия Егорыча в больницу, участковая врачиха диагноз ему записала «обострение ишемической болезни сердца», но лежавший в первой палате сосед по дому и к тому же его бывший бригадир Самсонов, прозванный за зычный голос Левитаном, безапелляционно утверждал, что Егорыч просто придуряется, будто «в боку колет» — это еще не причина для лечения за государственный счет. А напросился, мол, тот сюда с исключительной целью подхарчиться, потому как уже третий месяц пенсии никому не платят, а если и была у Егорыча какая записка на черный день, то ушла вся на похороны жены Надежды Семеновны, которая умерла семь месяцев назад, а, может, и все девять. Поминки по ней, тут Самсонов даже причмокнул, Егорыч организовал справные, народу пришло — обе комнаты набилось. Ну, а бутылок — пей, не хочу. С этим делом у Егорыча не заржавеет. Фактически вся пенсия у него на нее, злодейку, и уходит.

— Не бережливый он мужик, живет одним днем, — с осуждением заключил характеристику бывшего своего подчиненного бригадир Самсонов.

Разговор проходил у дверей процедурной, где собрались обитатели терапевтического отделения в ожидании медсестры Нины, которая, в похвалу ей будет сказано, уколы делала почти безболезненно, чему, видимо, способствовал неизменно производимый ею перед началом процедуры смачный шлепок по ягодице больного. Хотя говорил Самсонов об Анатолии Егорыче в третьем лице, но тот обретался тут же и нисколько не

обиделся, что говорят о нем так, будто он пустое место, да и слова-то все занозистые. Другой бы, горделивый, за них и в морду мог дать. А Егорыч только поддакивал:

— И то правда твоя, Самсонов, копейка лишняя у Егорыча не залежится. Меня и покойница Надежда за это корила. Да такой уж характер мне определен, сладу с ним нет. Мозгами понимаю, что надо заначку на черный день сделать, а душа противится. «Чего, — шепчет, — деньги эти проклятущие беречь. От них все зло. Пропей их побыстрей — удовольствие получишь».

— Это у вас слуховые галлюцинации начинаются, — вступил в разговор Виктор Васильевич, учитель истории, человек большой эрудиции и демократических взглядов. — Вам бы с вашим состоянием здоровья поменьше бы надо злоупотреблять.

— Так, не буду спорить, я бы с удовольствием, — сокрушенно вздохнул Егорыч. — Да только от судьбы ведь не уйдешь. И заживаться на этом свете нет теперь никакого расположения. Покуда жива была супружница, тут вроде старость вдвоем коротать веселей. Я, хоть и злоупотребляю, как вы культурно выразились, а она зла на меня не держала. Ругала, знамо, не без этого, но, грех жаловаться, жили мы в ладу и любви.

— Раз так, тем более надо бы вам завязывать с вредными привычками, — назидательно произнес педагог, как я уже имел возможность убедиться, большой любитель читать нотации. — Вы, я заметил, крестик носите, значит, человек верующий, признаете загробное существование. И представьте, как было бы приятно вашей покойной супруге увидеть оттуда, — он закатил глаза к серому в ржавых разводах потолку — что ее бла-

говерный наконец-то образумился и начал вести трезвый образ жизни.

— Это что-то уж очень культурно вы загнули! — крутанул головой Егорыч. — Там у них, у покойников, небось, другие интересы. Уж разов пять навещала меня Надежда Семеновна, знамо дело, во сне, о разном мы с ней толковали, а чтоб пить я бросил, она никакого намека даже не сделала.

Виктор Васильевич собрался было прочитать очередную нотацию, но тут подошла его очередь на укол. После него, хотя Егорыч и топтался по-прежнему у дверей процедурной — почему-то он всегда оказывался крайним — историк не стал продолжать душеспасительную беседу, а поспешил в палату, чтобы, следуя рекомендациям многоопытной Нины, поскорее принять горизонтальное положение, которое-де способствует быстрейшему рассасыванию магнезии.

Разошлись по палатам и другие мужики. Мне лежать не хотелось, я подошел к окну в конце коридора и бесцельно уставился вниз на бетонный забор, огораживающий больницу. Массивные плиты безжизненно-серого цвета, кое-как приляпанные друг к другу, навели тоску и уныние. Я уж было совсем замерхлюндил, но тут в поле моего зрения попала кошка Мурка, нахальная пушистая красotka, приписавшая себя к нашему четвертому этажу, любимица женской части отделения, но иногда забредавшая и на мужскую половину

Мурка охотилась на воробьев, которые шумной стайкой облепили мусорный контейнер в надежде отыскать что-нибудь съестное среди пластиковых бутылок,

пакетов из-под молока и кефира, опорожненных консервных банок, старых газет и прочего несъедобного хлама — пищевые отходы собирались отдельно и предназначались для откорма свиней. Кошка, видимо, хорошо изучила повадки птиц и поэтому не спешила прыгнуть на контейнер — только всех распугаешь, а, вжавшись в землю, терпеливо ждала, когда какой-нибудь ошалевший от удачи воробей потеряет бдительность и окажется в пределах ее досягаемости.

И такой бесшабашный нашелся. Держа в клюве здоровенную батонную корку, он приземлился буквально в метре от кошки, но не прямо против ее морды, а чуть сбоку. Мурка, боясь спугнуть воробья, не стала менять позу, а, изогнув тело дугой, совершила прыжок какой-то немислимой траектории. Увы, ее когти лишь царапнули хвост воробья. Бросив корку, он суматошно затрепетал крылышками, вертолетом взмыл вверх и, набрав безопасную высоту, отлетел к забору. Туда же устремились и его товарищи. Через открытую форточку до меня донеслось их негодующее чириканье. Упустив добычу, Мурка сделала вид, что ее ничуть не огорчила неудачная охота. Она демонстративно уселась спиной к воробьиной стае, почесала задней лапкой за ухом, а потом принялась тщательно умывать мордочку.

— Наблюдаете? — раздался за моей спиной тихий тенорок Егорыча.

— Да, вот смотрю, как наша Мурка охотится. Не повезло ей.

— Ну, может, это и по справедливости, — рассудительно произнес Егорыч. — Кошка, она ведь на людском иждивении. Птичку поймать — ей больше для ба-

ловства, а не для питания. С голоду, небось, не помирает. Женщины ее подкармливают. Так она еще и не все жрет. Вон Елене Алексеевне с крайней к нам палаты внучка вчера рыбки принесла жареной и колбасы, по виду «докторской». Угостила бабка эту самую Мурку. И что вы думаете? Рыбку та съела, а от колбасы нос воротит. А я эту «докторскую» уж и не помню, когда в последний раз ел. Не думал, не гадал, что когда-нибудь кошачьей сытости буду завидовать.

Он глубоко вздохнул, тщательно пригладил остатки шевелюры и продолжил в том же раздумчивом тоне.

— У собак жизнь совсем другая. Корма для них много требуется, не то, что кошкам. А больничный народ теперь все подчистую сметает. Видели, тут возле нашего корпуса сучка бегаёт и двое щенятков, но уже здоровых, чуть не годовалых. Вот кого пожалеть надо. Тощие — страсть! Правильно говорится: собачья жизнь, не кошачья же?!

По правде сказать, я не ожидал от Егорыча такой разговорчивости. В мужской компании, которая собиралась после ужина у курилки, чтобы за колченогим столиком забить карточного «козла», он все больше молчал, не лез, как другие, с советами, а когда сам сидел за карты, то голос подавал лишь тогда, когда приходилось оправдываться за неудачно сделанный ход.

— Что ж ты, бляха муха, пикового туза не снес?! — кипятился бригадир Самсонов. — И потом не в масть пошел. Видел же, что они бубей бьют.

— Да все у меня в жизни не в масть, — вздыхал Егорыч и покорно вставал со стула, чтобы по настоянию

рассерженного партнера, не доиграв партии, уступить свое место более сообразительному игроку...

— Я так понимаю, вы человек образованный, вроде Виктора Васильевича, только не такой говорливый, — после небольшой паузы продолжил изливать душу Егорыч. — Может, растолкуете, что это на Руси делается? Не знаю, как там у вас в Москве, а здесь уж какой год все идет наперекосяк. Взять хоть меня, к примеру. Конечно, жена померла — это главный жизненный удар. Вот утешают мужики: все там будем. Мол, значит, срок такой был определен моей Надежде Семеновне. А я несогласный. Ей еще пожить можно было, если б операцию сделали. Сунулись мы в больницу, не в нашу, а где сосуды штопают. Там культурно-вежливо объяснили: да, говорят, наш это случай, требуется срочное вмешательство, но, извините, теперь такие операции делаются на коммерческой основе, платите денежки. И такую сумму объявили, что у меня аж голова затряслась. Это десять лет пенсию мою надо откладывать всю до копейки. Я знал, есть, конечно, у жены кое-что в загашнике на черный день. Ну, еще ковер продать да холодильник, на сервант, глядишь, покупатель нашелся бы. Много б, ясное дело, не выручили, но, если поторговаться, может, врачи бы и снизили цену. А то в Тамбов к сыну поехали бы, у них, он писал цены на продукты куда дешевле наших, авось и за операции там берут побожески. Но у моей Надежды Семеновны характер упорный, сколько ни уговаривал, стояла на своем. Нет, говорит, Толик, чего зря рисковать. Твердой гарантии доктора не дают, а если неудача у них случится, денежки они тебе не вернут. Ты лучше похорони меня по-

божески, оградку на могилке поставь, крестик узорчатый, как у соседки Веры Николаевны. Надин наказ я исполнил в точности. В церкви ее отпели. И поминки, и девятый день и сороковой отмечал. Оградку установил, какую она пожелала, бригадир мой, спасибо ему, помогал ее ладить.

А крест у меня на балконе пока стоит. Знающие люди подсказали, что ставить его надо, когда земля на могиле осядет окончательно. Крест почему я загодя купил? Цены-то все растут и растут, а потом, вам уж это известно, подвержен я выпивке, так что мог бы не удержаться и пропить святые денежки...

Егорыч помолчал, изучающе посмотрел на меня, спросил робко, не надоела ли мне его болтовня, и, получив заверение в том, что не надоела, продолжил свой монолог.

— Вот вы, небось, удивляетесь, чего это я перед вами на жизнь свою жалуюсь? Так, мужики наши без понятия, без сочувствия, что человеку тошно, им бы только надсмехаться. Опять же знакомому стыдно все высказывать, а вы человек пришлый, скоро в Москву уедете, а меня так вообще завтра выписывают, и, наверное, не встретимся мы никогда больше...

Простояли мы с ним, наверное, целый час. О многих своих жизненных радостях и передрягах порассказал мне Егорыч, но ничего зазорного в них не было, а стыд его ел единственно потому, что принужден теперь нищенствовать. Не побираться, уточнил он, скатиться до этого — последнее дело, а вот каждый день думать, где кусок хлеба раздобыть, да кто бы водочкой угостил, разве не позорно?! И за какие такие грехи наказание

ему, он в толк никак не возьмет. Всю жизнь руки мозолил. Когда инвалидность оформляли, насчитали ему трудового стажа сорок четыре года, шутка ли?! Работал прилежно. Были у него, конечно, нарушения дисциплины, не без этого, но и на Доске Почета висел, и грамотами в большой комнате всю стену можно было б завесить. Кстати, подчеркнул Егорыч, квартиру ему дали двухкомнатную в семьдесят шестом, а тогда на четверых такую просторную кому попадя не давали. Отметим, выходит, его ударный труд. Вот Виктор Васильевич попрекает, не то, мол, мы строили. А чего не то? Коровники он ладил в колхозах, элеватор сооружал, в городе на Первомайском в трех домах его кладка, на Крупской — в двух, еще адреса может назвать. Как в газетках писали: приносил радость людям. А что получается в жизненном итоге? Шиш с маслом! Разве это по справедливости?

Опять же Виктор Васильевич наставлял его, что время сейчас самое подходящее для проявления личной инициативы. Что ж, он в прошлом году попробовал ее проявить. Подрядился в одну бригаду дачу строить. Жена еще жива была, работала, в магазине убиралась. Заработок не ахти какой, но против его пенсии в два раза больше. От того, что женщина добычливей, чувствовал он ущемление совести. Потому и надумал подзаработать. День отпахал — ничего. А на другой — часок кирпичи потаскал, и сердце прихватило. Присел в тенечек отдышаться. А тут машина заграничная подкатывает — хозяин собственной персоной. Приехал проверить, как идет сооружение его коттеджа. Мужик совсем молодой, парень еще, а вот сумел столько деньжищ загре-

сти, что трехэтажную домину решил себе отгрохать. Прошел он мимо Егорыча, ничего не сказал, только глазом зыркнул. Обошел свои владения, со строителями о чем-то потолковал, возвращается к машине, а Егорыч в той же позиции. Как на грех, сердце не отпускает, саднит, спасу нет. Чего-то, дядя, говорит хозяин, перекур у тебя затянулся. Егорыч отвечает в том плане, что сердце малость прихватило. Э-э-э, говорит хозяин, больничные у меня не положены, придется нам расстаться. Вот тебе десять тысяч за вчерашний день — тогда еще такие деньги были — и считай, что мы в полном расчете.

— Вот так и живу, — со вздохом подытожил рассказанное Егорыч. — Один-одинешенек. Дочка Верочка еще девушкой померла, а сын Павел, я уже сказывал, в Тамбове проживает. Со снохой у нас отношения не заладились, так что если к празднику от него открыточку получу и то спасибо. Самсонов правильно сказал, что я сюда подхарчиться лег. Лекарств тут мне, вы, может, заметили, никаких не дают. Врач написала записку, какие мне надобны, чтоб я сам купил их в аптеке, такими больницы сейчас не обеспечивают. А я в аптеку даже не сунулся, цены там на сердечные таблетки — не подступись! Так что у меня не больница получается, а вроде дома отдыха.

Егорычу понравилась своя шутка, и он тихо хохотнул в кулак. Однако меня она совсем не рассмешила, скорее, заставила погрустнуть. Видимо, заметив это, он решил переменить тон и заговорил неестественно бодро.

— Живы будем — не помрем, друг-товарищ! Пенсию обещались скоро начнут выплачивать. А куда я и

так приспособился. Бутылки пустые в электричках собираю. Поначалу неловко было, а потом привык. Не ворую же! Инвалидам проезд бесплатный. До Рыбного доеду — на буханку хлеба насобираю под лавками. Вертаюсь обратно — на кило картошки. С вокзала иду мимо рынка. Загляну, не побрезгую, в ящик, куда продавцы порченные овощи выбрасывают. Морковку выберешь, луковицу, от гнильцы очистишь — на суп сгодятся. Помидорины мятые, капустный лист — это для щей. Нынче лето на грибы выдалось урожайным, так я пропасть сколько их засушил, до весны, пожалуй, все не израсходую. А вот с выпивкой хуже. Тут натуральные деньги требуются, а где их взять? Пенсию-то не платят. Хоть я и согласился с Виктором Васильевичем насчет злоупотребления, а правду сказать, редко теперь бутылек покупаю. Если кто поднесет, тут, конечно, не откажусь. День рождения у меня был недавно, так, стыдно сказать, у медсестрички Нины тридцатник одолжил. Я уж здесь не первый раз, мне доверие полное, знают: Егорыч не зажилит. На пенсию рассчитывал, а ее не дали, пришлось шапку зимнюю продать, почти неношеную, сына подарок на пятидесятилетний юбилей. Просил, понятно, три червонца, но мужик покупающий несговорчивый попался, а я торговаться не научен, отдал за его цену — за двадцать восемь рубликов. Так что два рубля еще остался я должен Нине. Завтра выпишут, сделаю свои рейсы — отдам ей должок...

Егорыч снова протяжно вздохнул, приглушая звук ладошкой, и окончательно завершил разговор.

— Вы уж извиняйте, что я столько тут набалабол. У вас, небось, своих неприятностей хватает. Пошли лучше покемарим, все до обеда время быстрее пробежит.

Прошло два дня после выписки Егорыча. После ужина одна из больных нашего отделения спускалась на третий этаж позвонить по телефону и на лестничной площадке обнаружила человека, который, скрючившись, лежал на полу. Естественно, она решила, что он пьян, но, будучи женщиной сердобольной, собралась было подвинуть его к батарее. Наклонилась над ним и к ужасу своему обнаружила, что глаза у него какие-то стеклянные и дыхание странное. Бросилась она к дежурной сестре, с перепугу слов нужных подобрать не может, повторяет только: «Человек на лестнице валяется и булькает, человек валяется и булькает».

— Ну и пусть валяется! — отмахнулась Нина. Она как раз в тот вечер на вахте была. — Пусть себе булькает!

— Да, кажется, мужик из нашего отделения, — объясняет больная. — Вроде даже ваш знакомый.

Нина чертыхнулась и нехотя пошла вниз. В неподвижном человеческом комочке она сразу узнала недавнего пациента из пятой палаты Анатолия Егоровича Царькова. Кто знает, может, его еще можно было вернуть к жизни, но дежурная врачиха на все четыре этажа была одна, искали ее не меньше десяти минут, а когда нашли, ей осталось только констатировать смерть. Санитаров в этот час в больнице уже не было, а скорее всего их вакансии вообще были свободны — какой здоровый мужик пойдет на такую грязную работу за такую

мизерную зарплату? — так что бригадир Самсонов сам организовал похоронную команду из больных, кто помоложе, и они, положив тело Егорыча на одеяло, отволокли его в морг. Там Самсонову под расписку выдали справку, которую он потом охотно показывал всем любопытствующим. В справке перечислялись вещи, принадлежавшие покойнику, а именно: «шапка спортивная вязаная синяя в пятнах, куртка вьетнамская синего цвета поношенная, пиджак и брюки коричневые поношенные, рубашка синтетическая зеленая, майка серого цвета, трусы семейные синие, носки х/б коричневые штопанные, полуботинки черные старые. В карманах пиджака и брюк находились: два ключа на колечке, расческа, носовой платок, пенсионное удостоверение и деньги в сумме два рубля — три полтинника и пять монет по десять копеек».

Звенигород, март, 1999 г.

МОЛИТВА

1

У одинокой пенсионерки Таисии Владимировны Шишкаревой пропал кот. Тревожиться она о нем начала на третьи сутки, потому как обычно, не больше двух ночей погулявши, он обязательно возвращался подкрепить свои растроченные в драках с другими котами силы. Ор под окнами поднимали они такой страшный, что подполковник в отставке Олег Валерьянович с третьего этажа однажды плеснул на драчунов кружку крутого кипятка. С той поры у ее Мурзика проплешинка на правой лопаточке появилась.

Такой жестокости по отношению к животным Таисия Владимировна понять не могла. Ну, ладно, работающего человека в пять утра, когда само сладко спится, разбудил котячий концерт, тут можно нервы сорвать и, ничего со сна не соображая, швырнуть чем попало в нарушителей покоя. А Олегу Валерьяновичу никакого резона не было сердать до такой свирепости, он на заслуженном отдыхе, утром недоспал, так днем дрыхни, сколько душа пожелает. Забот-то у него никаких. Бывший подполковник живет бобылем, жена давно померла, а дочка замужем тоже за военным — в Краснодарском крае, да только сам Олег Валерьянович хозяйство не ведет, а нанимает для этой цели женщину. Сначала к нему ездила одна краля крашенная аж с Сокольников, но чего-то недолго она у него домовничала, наверное, не вытерпела его суматошного характера. Или, может, кого

получше нашла. Она женщина была фигуристая, в теле, а как подкрасит свои патлы в рыжий цвет, то, соседки шутили, точно про нее сказано: сзади — пионерка, а спереди — пенсионерка.

А вот уже третий год прислуживает Олегу Валерьяновичу косорукая Маша с четвертого подъезда. У Маши еще возраст для пенсии не вышел, но она ее получает по инвалидности второй группы. Работала Маша на стройке и по нерасторопности, а, может, крановщик с похмелья был, но только придавило ей правую руку стеновой панелью, да так неудачливо, что кость от самого локтя до ладошки раздробилась на мелкие кусочки. Хирурги собрали их, но не шибко правильно, и когда гипс сняли, то рука получилась с каким-то вывертом, для работы по строительной специальности непригодная. Что же касемо стирки, или готовки или квартиру пропылесосить, Маша наловчилась и с уродливой рукой со всем этим управляться. Подружки-соседки, что Вера Даниловна с пятого этажа, что Евдокия Афанасьевна со второго, женщины, хоть и не злые, однако ехидные, когда принимались Олегу Валерьяновичу косточки перемывать, обязательно попрекали его зато, что он, старый хрен, платит Маше сущие гроши, даже меньше ее скудной пенсии, а ведь она не только полностью его обихаживает, но и кобелиным его приставаниям угождает. То есть намекали, значит, что сожительствуют они.

Так ли, нет, только Таисия Владимировна за это их не осуждает. Маша и со здоровой рукой была не ахти — остроносая, скуластая, глазки серые пуговками и будто совсем без ресниц, такие те белесые. Замуж она не сподобилась сходить да и полюбовников постоянных не

имела, разве что, Вера Даниловна несколько раз примечала, заскакивали к ней мужики, но все здорово набравшись. А Олег Валерьянович мужчина тоже не особо видный — небольшого росточка, толстенький, лысина до самого затылка, а поперек нее седые волосенки одинокие. И то — под семьдесят ему уже, откуда красоте, если и была она, сохраниться? Впрочем, мужчине, чтоб расположение женское завоевать, красота и не требуется. Они обхождением берут, разговорами, ну и нахальством, конечно.

Олег Валерьянович поселился в их доме, как в отставку вышел, считай, около двадцати лет назад. Так вот, охальник, при живой еще тогда жене попытался соседку в подъезде прижать и облапать, да не обломилось ему, не на ту напал. Потом неделю с синяком под глазом ходил, как уж перед супругой вывернулся — неизвестно. Да если б он и культурно к ней подкатил, все равно получил бы от ворот поворот. Таисия Владимировна из всех грехов смертных наиглавнейшим считала, когда семью кто разрушает. Может, потому, что у самой мужа увели. Своего Василия Прокопьяча она безусловно корила за измену, но со снисхождением: мужчины, они все неустойчивые, какая вертихвостка захочет, любого отобьет у законной жены. А вот Лариску-разлучницу, помирать будет, не простит. Сколько лет прошло, а до сих пор обидно — сама, можно сказать, их свела. Лариска, когда ее в мягкий перевели, напарницей с ней ездила, тогда и познакомила Таисия Владимировна свою товарку с Василием Прокопьячем. Он в вагонном депо слесарил, по соседству с их резервом

проводников, частенько и в рейс провожал и встречал, как тут не познакомиться.

У проводников в ту пору да и сейчас, наверное, считалось большой удачей в мягкий вагон попасть. И народу в мягком поменьше, и народ сам побогаче, пощедрее, одни чаевые солидную прибавку к зарплате давали. Но вот что касается соблазнов по сексуальной линии, тогда, правда, и слова такого не знали, а называлось это по-матерному или, если по-интеллигентному, «оказаться слабой на передок», то искушения такие в дальних рейсах случались нередко, особенно когда на Ташкент ездили. Чучмеки из мягких вагонов всегда при больших деньгах, коньячком угостить проводницу или шампанским — для них не проблема, да еще духи дорогие подарят, а то, бесстыдники, и нижнее белье. Лариска однажды хвалилась перед ней таким «сувениром» — бюстгальтером заграничным. Весь прозрачный, с кружевами, ничего похожего у нас и в помине не было. Тогда все женщины лифчики носили одинаковые — хлопчатобумажные, белые или голубые, а фасоном, как две детские панамки.

Еще ездили в мягких генералы, большие начальники из штатских да артисты. Генералы тоже любили деньгами насорить и до женского пола были охочи, начальники те вели себя тихо, карьере боялись испортить, ну, а артисты, хоть и не шибко денежный народ, но уж такими соловьями разливались, не каждая устоит. О проводницах, что греха таить, слава идет, как о бабах податливых, с той же Лариской, к примеру, поякшался пассажир, а тень на всю профессию. А Таисия Владимировна двадцать лет с гаком проводницей оттрубила и

ни разу ничего себе такого не позволила. Ни в замужестве, ни после.

Да, верность своему Васеньке при всех соблазнительных обстоятельствах свято блюла, а он черной неблагодарностью отплатил. Правда, спутался он с Лариской уже после гибели Павлика, ее ненаглядного сыночка единственного. Утонул мальчишечка, когда ему тринадцать только-только исполнилось. В пионерском лагере они в поход ходили и на привале у какой-то речки стали с моста сигать. Дружки-то «солдатиком» прыгали, а Павлик, он боевой был, заводилистый, «ласточкой» сиганул. А там свая оказалась, под водой не приметная. Он об нее головкой ударился, сознание потерял и захлебнулся. А ребята, несмышленыши еще, когда прибило Павлика к берегу, откачать его не смогли. Пионервожатую-студентку судили потом за халатность, их с отцом вызывали как потерпевших, только умоляла она судью девчонку простить и не калечить ей судьбу, а сыночка все равно не вернешь.

Так и остались они вдвоем с Василь Прокопичем. Теперь она понимает, надо было ей тогда еще родить ребеночка, уж тот бы привязал мужа накрепко. Да только смущение брало, как в сорок пять лет рожать, считай, старуха уже, тем более подружки по бригаде, когда намекнула о таком тайном желании, в один голос отсоветовали. В позднем возрасте, толковали ей, если зачнешь дитя, оно с отклонениями внутренних органов может родиться, почек там или печени, а чаще с пороком сердца, а то и просто уродом. Откуда все это женщины взяли, неизвестно, однако напугали ее крепко, и она больше о ребеночке не помышляла. Потом уж мно-

го лет спустя соседка Вера Даниловна в случайном разговоре обронила, что ее самую мать в пятидесятилетнем возрасте на свет произвела, и в ихней деревне такие случаи не в редкость были. Только ведь в те годы давние по десять-пятнадцать детей рожали. Опять же воздух деревенский не то, что в Москве. Тут живешь и не ведаешь, что организм твой давно уже отравлен — и машин вон сколько развелось, и труба эта от ТЭЦ дымит круглосуточно, а скверик был неподалеку от их дома, так его срубили под те же гаражи. Несмотря на возмущение общественности. И она свою подпись под протестующим письмом ставила. Да только и раньше с простым народом не шибко-то считались, а теперь и по-давно...

Чудно все-таки у человека голова устроена! Стала Таисия Владимировна о пропавшем коте думать, а мысли вон куда повернули.

2

И на восьмой день кот не вернулся. Тут уж Таисия Владимировна начала тревожиться по-настоящему.

— Да вы не переживайте раньше времени, — успокаивала ее Евдокия Афанасьевна, когда вечером вышли посидеть на лавочке приподъездной. — Значит, не нагулялся еще ваш Мурзик.

— Ой, спасибо за утешение! — вздохнула Таисия Владимировна. — Только вроде рано ему в загулы пускаться. Он молоденький еще. Ему всего-то три годочка. И лето сейчас, а котам, по присловью, полагается в марте гулять.

— Ну, у кошек разные биологические ритмы, — поученному выразилась Евдокия Афанасьевна, даром что ли учительницей была. — У вашего Мурзика, может, как раз сейчас и заиграла кровь. А что касается его возраста, то кошачий год считается как восемь человеческих, и выходит, ему двадцать четыре года — самая пора для любви.

— Так оно, может, и правильно, — продолжала печалиться Таисия Владимировна, — только чувствую, беда с ним случилась. Крыс тут травили недавно, и он, наверное, по глупости яда этого скушал. Или ребята камнем прибили. Сама вчера видела, конопатенький с того подъезда, где Маша косорукая живет, Игорем вроде его кличут, кирпичом в голубя запустил. Помешал ему чего-то голубь. А раз в птицу бросается, что и в кошку не бросить?

— Да вашего кота весь дом знает, — с укоризной проговорила Евдокия Афанасьевна. — Кто ж это из наших ребятишек посмеет на него руку поднять? Игорь, конечно, с хулиганскими замашками, но мальчик он понятливый. Он ведь как соображал: голубь — птица дикая, следовательно, ничейная, поэтому в нее можно камнями пулять, а кошка — домашнее животное, у нее хозяин есть. А сейчас к частной собственности пропагандируется уважительное отношение.

Хотела еще что-то рассудительное добавить Евдокия Афанасьевна, да тут из подъезда выкатился колом Олег Валерьянович. Тоже решил подышать свежим воздухом.

— Чего, сударыни, пригорюнились? — спросил весело и на скамеечку рядом с Евдокией Афанасьевной

плюхнулся. — Квартплату вроде бы не повышали и воду горячую уже подключили. Никаких уважительных причин для таких кислых физиономий не вижу.

Ну и говорун бывший подполковник, только б языком молоть! С недавних пор стал величать соседок «сударынями» и «госпожами», а раньше — «гражданки» да «товарищи женщины». «Сообразуюсь с новыми политическими реалиями», — объяснил им такую перемену в обращении. Олег Валерьянович в армии по воспитательной части служил, сохранил привычку следить за событиями внутренней и международной жизни.

— Вам, Олег Валерьянович, все шутки шутить, — осуждающе покачала головой Евдокия Афанасьевна. — А у Таисии Владимировны неприятность — кот у нее пропал.

— Не понимаю я вас, сударыни, — голосом серьезным, но будто и с насмешкой, проговорил Олег

Валерьянович. — Страна экономический кризис переживает, бывшая партноменклатура снова к власти пробралась, налицо рост преступности, уже в столице пашей Родины взрывы гремят, а у вас, видишь ли, горе — кот потерялся! Во-первых, никуда он не денется — найдется! А, во-вторых, не найдется — нового надо завести, и нет вопроса!

— Бессердечный вы человек, Олег Валерьянович! — огорченно вздохнула Евдокия Афанасьевна. — Справедливо говорят, что на военной службе люди черствеют. У вас, видно, никогда не было ни собаки, ни кошки, а ведь хозяин к ним так привязывается, точно это полноправный член семьи. Тем более, если человек одинокий. Для Таисии Владимировны ее Мурзик — пра-

вильно я говорю, Таисия Владимировна? — как для другой старушки внучонок.

— Категорически возражаю против такого сравнения! — четко, как, наверное, на политзанятиях выступал, произнес Олег Валерьянович. — Домашнее животное оно и есть домашнее животное, и ставить его на одну доску с человеком, это, Евдокия Афанасьевна, просто нонсенс, что в переводе с французского, как нам генерал Скляренко объяснял, «сон зеленой лошади». Извините, конечно, за некоторую грубость.

— А вы, извините, Олег Валерьянович, — перешла в наступление Евдокия Афанасьевна, — рассуждаете, как солдафон, который и понимает только «ать-два!», «кругом!», «налево равняйся!», а хорошие человеческие чувства ему кажутся чепухой. Не знаю, чем знаменит ваш генерал, а вот Антон Павлович Чехов утверждал, что кто не любит домашних животных, тот и ближнего своего по-настоящему полюбить не сможет.

Утверждал что-нибудь подобное Чехов или нет, Евдокия Афанасьевна точно не помнила, но твердо была убеждена, что именно так должен был высказаться великий русский писатель, прими он участие в их споре.

Распалились они не на шутку. Еще какие-то грубости друг дружке наговорили, но Таисия Владимировна их не слушала, о коте пропавшем размышляла.

Насчет внучонка Евдокия Афанасьевна зря сказала. Действительно, кошка она и есть кошка. А вот, что привязываешься к ней, как к родному человеку, это правильно. Да и то, сколько сил сердечных своему Мурзику она отдала. Подбросил кто-то к ним в подъезд котеночка. Она на первом этаже живет, дверь аккурат на-

против входа, конечно, подкидыш ее и выбрал. Услышала жалобный писк, дверь отворила и увидела «тварь дрожащую» — так Вера Даниловна кошек обзывает. Говорит, вроде в Писании так о них сказано. И, правда, соответствовал тогда котенок этому определению. Мелкой дрожью дрожал. А сам тощенький, шерсточка реденькая, сквозь нее кожа розовая просвечивается. Взяла его на руки — пух невесомый. Ну как не пожалеть сиротинку!

Приютила. Месяц целый молочком отпаивала. Оклемался котик и таким красавцем оказался. Весь черный, а на лапках будто тапочки белые и на грудке белый передничек. А масть у него все-таки не совсем чтобы черная, когда свет солнечный на спинку падает, она темно-каштановой видится. А уж игрун какой был! Бумажку на ниточке ему привяжет — он с ней и так и этак, и десять раз перевернется, и передними лапками ее обхватит, а задними бьет по ней что есть силы. А то отойдет в сторонку, отвернется, вроде чем другим заинтересовался, а потом как прыгнет! Еще, негодник, манеру взял на ноги бросаться. Идет она утром в туалет или ванную, еще колготы не надела, а Мурзик в прихожей притаится и, как дверь она откроет, выскакивает и лапкой раз-раз по ноге, а потом хвост трубой и бегом в комнату.

Когда повзрослел, реже стал играть, разве что за мухой погоняется, а то все больше спит. По ночам же гулять повадился. Возвращается голоднющий и сразу на кухню к своей мисочке. Она его все минтаем кормила, а тут месяца полтора назад исчез он из продажи. Пришлось треску покупать, хоть та и намного дороже. И так

он во вкус вошел, что, когда снова ему минтая сварила, отказался от него категорически. К мисочке подошел, обнюхал ее брезгливо, кусочек, правда, съел, а потом мордочку поднял, глянул на хозяйку укоризненно: где, мол, вкусная рыбка, чего, старая, жадничаешь?

Да-а, с норовом у нее Мурзик, самостоятельный! Вот хочется ей его приласкать, возьмет на руки, а он, если не в настроении, тут же соскочит и уляжется там, где сам пожелает. И на «кис-кис» не откликается, если сыт. А вот когда Таисия Владимировна суп готовит, уж он тут как тут. О ноги трется, мясца выклянчивает. А бывает ни с того, ни с сего нежность на него находит. Сядет она на тахту, поближе к торшеру, чтоб газетку рекламную любопытства ради посмотреть, их теперь бесплатно в каждый ящик бросают, а Мурзик будто ждал этого момента. Только она очки наденет, на подушку откинется, он, откуда ни возьмись, прыг к ней на колени, и, как младенец, к груди притулится и такие мурлады начинает выводить, у соседей, наверное, слышно...

— Эй, Таисия Владимировна! Заснула, что ли? — вернул ее в настоящее звонкий тенорок Олега Валерьяновича. — Вот женщины, загадочный вы народ! Мы из-за ее кота чуть вдрызг не разругались, а ей, оказывается, все до лампочки. Кот-то твой, спрашиваю, когда пропал?

— Да уж неделя прошла, — тихо, извиняющимся тоном проговорила Таисия Владимировна. — В то еще воскресенье вечером выпустила на гулянье, а сегодня, получается, второй понедельник, как его нет.

— Тогда для беспокойства основания, безусловно, имеются, — признал Олег Валерьянович и после неко-

того размышления объявил решительно. — Здесь такие версии просматриваются. Что ядом крысиным кот отравился — это ерунда. Не дурак он, чтоб отраву есть, когда его дорогой треской кормят. Но вот самого его съесть очень даже могли. От нас ведь всего за квартал барахолка, там вьетнамцы шмотками торгуют. А этот народ и кошек тоже в пищу употребляет. Замаринуют предварительно, а после жарят наподобие шашлыка.

— Ой, чего это вы такие страсти говорите! — содрогнулась в ужасе Таисия Владимировна. — Да как же это можно кошек есть?!

— Ну, у разных народов разные вкусовые пристрастия, — неожиданно поддержала Олега Валерьяновича Евдокия Афанасьевна. — Насчет вьетнамских кулинарных деликатесов не знаю, а вот корейцы собак едят — это точно. А французы, вообразите себе, лягушек.

Ничего не скажешь, успокоила! Как представила Таисия Владимировна, что с Мурзика шкурку сдирают, а тельце в уксус кладут, чуть не разрыдалась в голос. А еще подумала, вот по телевизору за границу нахваливают, но ведь не от хорошей же жизни лягушек станешь есть?!

— Следующий вариант такой, — продолжил строить свои догадки Олег Валерьянович. — Гибель под колесами автотранспорта.

— Нет, Мурзик — котик осторожный, — решительно возразила Таисия Владимировна. — Он даже машины, которые просто во дворе стоят, и то всегда стороной обегал.

— Тогда остаются два варианта, и оба оптимистические, — потер руки Олег Валерьянович. — Первый:

кота похитили. Справедливо заметила Евдокия Афанасьевна, я небольшой любитель домашних животных. В условиях крупных городов они сжирают существенное количество продуктов питания, а никакой практической пользы не приносят. Однако, признаю, ваш Мурзик имеет симпатичный внешний вид, и кому-то он определенно мог приглянуться. Но если даже похитители увезли кота на другой конец Москвы, все равно надежды терять не следует. Я недавно в одной серьезной газете вычитал, что некая кошка вернулась к своим хозяевам через сорок девять дней. Они на даче ее забыли, а дача у них по Северному направлению, то ли в Тарасовке, то ли в Мамонтовке, сами же живут в районе метро «Каширская». Представляете, какой путь проделала эта мурка, чтоб к хозяевам вернуться!..

Олег Валерьянович сделал паузу, хитро подмигнул женщинам и последнюю свою версию изложил.

— Склоняюсь я более всего к той мысли, уважаемые сударыни, что ваш котяра сексом сейчас занимается. Это, вспомните-ка, дело такое увлекательное, что тут и о пище забудешь и счет дням потеряешь. Не так ли, а, старушенции? — И локтем в бок легонько толкнул Евдокию Афанасьевну и захохотал залиvisto.

«Ну, охальник! — осуждающе подумала Таисия Владимировна. — Ему о смерти пора думать, а он все о глупостях».

И как напророчила. На следующее утро, только умыться успела, звонок в дверь. Открыла — на пороге Маша косорукая стоит, вся зареванная.

— Что стряслось, Машенька? — спросила ласково.

— Ой, баба Тася! — заголосила та. — Помер наш Олег Валерьянович.

Ну, конечно, расспросила она Машу, как да чего, только никаких особых подробностей не узнала.

Пришла Маша с утра пораньше квартиру прибрать, дверь своим ключиком открыла, у Олега Валерьяновича к ней, понятно, доверие было полное. В комнату вступила, удивилась: в такую-то рань Олег Валерьянович уже за столом сидит. Но сидит как-то странно: голову на столешницу положил, а одна рука вниз свисает. Словно пьяный. А он ведь после инфаркта, что в позапрошлом году случился, ничего спиртного категорически в рот не брал. «Я свою цистерну выпил», — отшучивался, когда предлагали. Окликнула его Маша — не отвечает. Подошла ближе и все ясно стало. За руку взяла — та уже окоченевшая. Может, Олег Валерьянович еще вечером помер.

— А вчера такой веселый был, такой задиристый, — вздохнула Таисия Владимировна. — Мы на лавочке сидели, о коте моем пропавшем толковали, он меня все подбодрить старался.

По правде говоря, к покойному соседу Таисия Владимировна без всякой симпатии относилась, а вот умер человек, какой никакой он был, а все жалко. Она даже всплакнула. И невольно свои покойнички дорогие

вспомнились — сыночек и муж. Василий Прокопъич, хоть и ушел от нее, а так в памяти и остался как законный муж, а не то, чтобы бывший. И то — с Лариской после официального развода прожил он всего четыре месяца. Ухайдакала она его. А одна женщина с вагонного депо заверяла ее клятвенно, что Василий Прокопъич по жене покинутой тоскует и хочет прощения просить, чтоб обратно его приняла. А она и приняла бы безусловно. Ведь его, единственного всю жизнь любила.

Что там судьбу гневить, в женской доле ей повезло. Когда война закончилась, была она совсем молоденькой, девятнадцатый годок шел. Под ее возраст, считай, всех подходящих женихов на фронте поубивало. Из их небольшой деревеньки пятнадцать парней да женатых мужиков ушло на войну, а вернулись четверо. На отца похоронка пришла в сорок четвертом, мама его на три года пережила. Так бы Тасе и век куковать, да председатель Иван Иванович, царствие ему небесное, жалостливый был человек, хоть и партийный, от начальства подневольный. Когда очередную перетряску с колхозами затеяли, он под этот шумок и отпустил ее в Москву. Езжай, говорит, девка, в белокаменную, там счастье легче найти. А ей уж двадцать пять. Перестарок. И ни шестимесячной модной завивки — коса узелком на затылке, и ни маникюра алого — она с малых лет в овощеводческой бригаде, при их работе какой уж тут маникюр, а из нарядов — платье ситцевое в синий горошек, стиранное-перестиранное, босоножки матерчатые за на холодную погоду кофточка из серой шерсти, самолично связанная. А вот чем-то глянулась деревенщина Василию Прокопъичу, коренному, между прочим,

москвичу. Он-то, когда еще только ухаживать за ней начал, и пристроил ее в проводницы. Ни о какой там чисто женской конторской работе она и мечтать не могла. Семилетку перед самой войной окончила, а труд непосильный да голодуха все те не ахти какие знания, что в школе получила, напрочь из головы вышибли.

Поначалу думала, долго не выдержит. Служба проводника и физически тяжелая и шибко нервная, ведь дело с людьми имеешь. Но потихонечку-потихонечку тянулась и, можно сказать, полюбила свою профессию. И то: как приятно от пассажиров в конце рейса «спасибо» услышать. Она и роды в пути принимала и мальчонку одного из-под самых колес проходящего встречного товарняка вытащила, мамаша его, раззява, потом долго ей благодарственные открытки к праздникам присылала... Ох, и чего только в той проводницкой жизни ни было — и радостного, и веселого и горького! Теперь же сидит в четырех стенах одна-одинешенька. С телевизором не поговоришь, а был кот, которому она думки свои поверяла, и тот пропал...

Маша ушла телеграммы родственникам Олега Валерьяновича отправлять и друзей его обзванивать. Вот что значит военный человек, к дисциплине приученный. Он загодя, после того инфаркта, списочек приготовил, кого проинформировать следует, если с ним что случится.

За Машей дверь закрылась, Вера Даниловна на пороге: что да как? Ее четыре дня дома не было, гостевала у племяша на даче. У которого, Таисия Владимировна уточнять не стала. У соседки братьев и сестер по Москве пятеро раскидано, а было семь, а уж племянников не

сосчитать. Ну, пересказала ей, что сама от Маши услышала. Повздыхали, поохали. Потом Вера Даниловна говорит, мол, хорошо бы Олега Валерьяновича на Митинское кладбище определить, там и ее сестры лежат и Таисии Владимировны муж с сыночком. Когда своих навещать будут, и за могилкой соседа доглядели б. Таисия Владимировна согласилась, что так оно удачно бы вышло, а саму память снова в прошлое повернула.

О смерти Василия Прокопьяча узнала она, когда в рейс собиралась. Сама Лариска прибежала к ней, не постеснялась. Вы, говорит, тетя Тася, на меня зла не держите, хотя имеете такое моральное право, а только я к вам с низким поклоном. Когда Василий Прокопьяч помирал, последнее желание высказал, чтобы похоронили его рядом с сыном. Теперь от вас зависит исполнить волю покойного. Таисия Владимировна тогда сама была готова в ноги Лариске бухнуться. Хоть на том свете, да снова имеете вся их семья окажется, когда и она свои дни окончит. Как и положено, рядышком будут лежать и родители и сынок.

Свой последний долг перед мужем она, считает, до конца исполнила. А как непросто это было! Пришла к начальнику резерва проводников с заявлением на недельный отпуск за свой счет, а он на нее с ходу оратор: «Не отпущу! Самое время «пик», у меня каждый человек па счету, а ты ишь чего захотела! Ты ж разведенная. Да если вы все начнете бывших своих мужей и любовников хоронить, мне ни одну бригаду не удастся укомплектовать!» И на него глазами зыркнула и сказала, как отрезала: «Не дадите за свой счет, увольняйте по любой статье, а только человека, с которым двадцать

лет прожила и от которого сын у меня был, проводить в последний путь я обязана». Горлопанистый был начальник, грубиян несусветный, а прочувствовал ее боль. И даже не семь дней отпуска, как просила, дал ей, а все десять, чтоб и девятый день отметить смогла...

Потом еще повздыхали по Олегу Валерьяновичу, а потом Вера Даниловна без всякого перехода про кота поинтересовалась, нашелся ли? Отрицательный ответ выслушав, сказала наставительно: «Помолиться надо! У нас на деревне, с девчоночной поры запомнила, как у кого на корову или овцу хворь нападет, особую молитву читали святым мученикам Флору и Лавру. Подойдет она для пропавшей кошки, не знаю, это нужно с батюшкой посоветоваться. А ты пока, подружка, просто помолись Господу нашему. «Отче наш», я тебя учила, прочитай, а опосля, какие просьбы есть и пожелания, Ему выскажи. Он ведь, Господь, всеблагий и всемилостивый. От самой маленькой царапинки в нашей душе у Него сердце кровью обливается».

Стыдно было Таисии Владимировне в глаза соседке глянуть. Память совсем дырявой стала, начало молитвы помнит, а дальше слова перепутываются. Вот и эта молитва, с которой она к Богу обратилась, когда одна осталась, тоже нескладной получилась:

«Отче наш, иже еси на небесех... Сыночек мой там у Тебя в раю, ангелочек Павлик. Ты уж последи, Господи, чтоб никто его не забижал. Он мальчишечка боевой, на несправедливость отзывчивый, может и огрызнуться. Но сердечко у него доброе, ласковое.

А еще прошу Тебя за мужа моего Василия Прокосьича. Куда уж Ты его определил, не знаю. Грешен

он, от жены законной ушел. Хоть и были мы не венчаны, а почти все совместные годы в любви и согласии прожили. Конечно, виноватый он, но еще больше вины на Лариске-разлучнице. Потому, Господи, если он не в раю, а в каком другом месте, Ты его в рай переведи, к сыночку. А потом, на милость Твою уповать буду, и меня с ними соедини. Василь-то Прокопъич, намекали мне люди, хотел от Лариски ко мне возвратиться, да не успел хорошее свое намерение осуществить. А Лариску-разлучницу Ты тоже прости, Господи. Это я ее в сердцах иногда проклиная, но Ты мне не верь...

Чуть не забыла, Господи! Василь Прокопъич мой — фронтовик. Дважды раненный. Совсем мальчишкой пошел на войну добровольно. Россию от немца отстоял. И на производстве всегда был на хорошем счету. Ты зачти это, Господи!

А еще прошу Тебя, Господи, упокой душу новопреставленного Олега Валерьяновича. Правда, может, он другой веры, обличьем-то на русского не очень похож. Но, хоть и суматошный был мужчина и до женщин падкий, особой злобы я у него не замечала. Если же он не православный, будь милостив, Господи, заступись за него перед евоиным Богом...

А еще, Господи, котик у меня пропал. Мурзиком его зовут. Сам черненький, а тапочки и грудка беленькие. Сделай так, чтоб нашелся он. Не ругай меня, Господи, что еще и по такому пустяку тебя тревожу. Да только одиноко мне. Господи, ох, как одиноко!..

А еще у Мурзика проплешинка на правой лопаточке...»

июнь, 1996 г.

СТЫДОБА

Коммунальные бани этого областного центра уже воспеты в русской литературе, и все же для полной ясности изложения я позволю себе сказать предварительно несколько слов о принятой здесь системе налаживания пара, в меру сухого и душистого, который, не обжигая кожи, тем не менее пригибает вас долу и заставляет минут пять сидеть, не шевелясь, у подножия полка, тихо постанывая от удовольствия. Почему у подножия? Да потому, что сам полоч, рассчитанный на четыре лежащих тела, увы, вам недоступен, ибо его занимают члены сформированной загодя бригады или, по другой терминологии, команды, которая как раз и готовила парок.

Дело это, на взгляд человека несведущего, простое и нехитрое, требует помимо выносливости, потому как переносить немалые физические нагрузки приходится в раскаленной душной атмосфере, еще и особого таланта. Сначала выметаются опавшие с веников листья, причем не пропускается ни одна щелочка, куда бы они могли забиться. После этой утомительной процедуры на полоч, пол и стены выливается с десятков шаек холодной воды. Затем, чтобы вытереть парную насухо, устраивается своеобразный конвейер. Трое-четверо членов бригады тряпками собирают влагу и выбрасывают их в открытую дверь. Оставшиеся в мыльной напарники налету подхватывают тряпки, быстро, с выкрутом отжимают их и переправляют обратно. Так повторяется до тех пор, пока даже в зазубринах между кафельными плитками пола не останется ни капли воды. Тогда дверь парной

плотно закрывается, на нее навешивается изнутри полог из толстого шинельного сукна, дабы не просочился наружу ни один глоточек пара, и начинается само таинство поддачи.

Поддают вдвоем, по очереди. Даже самый крепкий банный страстотерпец не в силах в одиночку перекидать на каменку, оборудованную на почти трехметровой высоте, ведерную шайку кипятка — сперва по ковшичку, потом по полковничка, потом по четвертушечке, по наперсточку, по граммулечке. Да бросать надо не абы куда, не на те камушки, что маняще светятся красным отблеском, а на те, что доведены, в самом прямом смысле, до белого каления. Тут уже требуется и снайперский глазомер и четкая координация движений. Бросается ковшичек с оттяжкой, так, чтобы вода не разбрызгивалась в полете. Тогда каменка примет ее не с недовольным шипением, что случается, если за дело берутся самоуверенные дилетанты, а с благодарственным чмоканьем, будто малыш целует любимую мамочку.

Говорят, в не столь давние времена рядовые, так сказать, посетители бань в парилку вообще не допускались, пока не обработают вениками друг друга все члены бригады. С приходом демократии порядки и здесь стали либеральнее. Теперь, после того как пар налажен, насладиться им могут все желающие, но полок, как уже отмечалось, для них заказан. Лишь самые проворные успевают примоститься на нижней из четырех ведущих к нему ступенек, большинство же вынуждено устраиваться на полу, который, справедливости ради надо отметить, надраен до стерильной чистоты. Начинать ма-

хоть вениками разрешается лишь по команде бригадира, когда на это даст «добро» разомлевшая на полке первая смена бригады, а выходить из парилки никто не имеет права, пока не попарится вторая.

Хотя пар получается отменный, и достается он вам, как не преминет подчеркнуть бригадир, на халяву, у этого порядка есть один изъян. После того, как добрых три десятка мужиков на славу поработают вениками, от первоначального божественного духа не остается и следа, зато начинает шибать в нос крепкий запах рабочего пота. Поэтому, пока бригада отдыхает, попивая пивко, квас или чай, заглядывать в парную нет никакого смысла, только настроение испортишь. Остается ждать, когда профессионалы снова наладят парок. Порой интервал между пропарочными заходами растягивается чуть ли не на час.

Вот во время такой вынужденной паузы я и стал невольным свидетелем разговора, который состоялся между банщиком и одним из вновь прибывших любителей русского пара. Шкафчик для одежды достался мне недалеко от входа, так что не надо было прислушиваться, да и говорили они довольно громко.

Я уже отметил про себя, что к банщику здесь обращались уважительно, по имени-отчеству — Александр Борисович. Вообще-то представителей этой отнюдь не престижной профессии зовут панибратски по имени, если им не перевалило за шестьдесят, или только по отчеству — Иваныч, Петрович, Сидорыч и т. п. — когда человек уже явно в пенсионном возрасте. Для Александра Борисовича завсегда и бань делали исключение, видимо, потому, что в его облике и манерах

чувствовалась интеллигентность и даже некий аристократизм. Благородная, отливающая серебром шевелюра, гладко выбритые чуть впалые щеки и волевой подбородок, точеный нос с горбинкой, выразительные серые глаза — он вполне бы сошелся на роль, скажем, старого князя Болконского или какого-нибудь английского лорда. А когда, перед тем как заняться уборкой мыльного отделения, банщик надевал поверх белого халата темно-зеленый клеенчатый фартук и не спеша натягивал на руки медицинские резиновые перчатки, он становился похожим на профессора-хирурга, который готовится к сложной операции. К моющимся гражданам Александр Борисович обращался исключительно на «вы», не забывая прибавлять старомодные словечки «извините» и «пожалуйста»: «Извините, я должен сделать приборку и буду вынужден вас потревожить», «Не обижайтесь, но в круглых тазиках ноги отпаривать не положено, пользуйтесь, пожалуйста, для этой цели овальными»...

— Что-то ты, Аркадий, давненько к нам не заглядывал, — после обмена рукопожатиями, из чего я сделал вывод, что они хорошо знакомы, сказал банщик и, вертя в руках билет, продолжил раздумчиво.

— Куда бы тебя определить получше? Середина дня, а народу много. Всего три местечка свободных. Двадцать девятый шкафчик, в правом углу у окошка, там сквознячок. В тридцать втором крючок сегодня утром сломали. Ну, и рядом со мной — первый, резервный.

— Я уж, если не возражаете, поближе к вам, — окинув беглым взглядом предбанник, проговорил Ар-

кадий, невысокий лысеющий брюнет с уже заметным брюшком. Был он лет на десять-пятнадцать моложе банщика.

Судя по извлеченным из спортивной сумки аккуратным ровненьким веникам — березовому и дубовому, а также серому фетровому колпаку, бывшему некогда модной мужской шляпой, новый посетитель понимал толк в банных утехах. Раздевался он торопливо, будто кто подгонял. Видимо, сохранилась привычка с тех времен, когда в бани выстраивались очереди и не сразу удавалось найти свободное местечко в мыльной, не говоря уже о шайке, которую приходилось «столбить» у заканчивающего помывку сопарника.

— Да ты не спеши особо, — посоветовал Александр Борисович, — Сегодня Леша командует. Он мужик основательный. Уборку они только начали, так что у тебя в запасе минут пятнадцать минимум. Расскажи, чего там новенького у нас в «Меридиане»?

Аркадий не поспешил с ответом, а продолжал раздеваться и, лишь оставшись в одних трусах, присел на скамейку и заговорил несколько удивленно:

— А вы разве не в курсе, Александр Борисович? Из «Меридиана»-то я ушел. Уж восемь месяцев как

— И ты тоже? — не то осуждая, не то сожалея, протянул банщик. — Ты же лучшим по профессии считался. С чего это начальство такими кадрами разбрасывается?

— Ну, во-первых, директор там новый. Лебедев Григорий Захарович. Может, слышали?

— Что-то ничего не говорит мне эта фамилия, — носче короткого раздумья ответил банщик.

— Так он в оборонке никогда не работал, — объяснил Аркадий. — Он, как это теперь называется, менеджер. Это такие ушлые ребята, которые любое производство могут организовать.

— Ну, если даже ты уволился, значит, не очень-то он ушлый! — усмехнулся банщик.

Точнее сказать, в его голосе мне послышалась усмешка. Я сидел к ним вполоборота и делал вид, что старательно перевязываю веник, так что выражения их лиц не видел.

— Да вроде дело сейчас потихоньку налаживается, — не очень уверенно сказал Аркадий. — Я-то, лично, ушел потому, что бабки хорошие предложили. В три раза больше, чем получал. Сами понимаете, глупо было такой шанс упустить. Пригодилось, что двадцать лет за рулем. Работаю теперь личным шофером одного босса. Видели магазинчики с вывеской «Ч. П. Глухов»? Вот его самого.

— У нас рядом с домом такая палатка, — оживился банщик. — Кстати, Аркадий, а как зовут твоего Глухова? Фамилия чисто русская, а вот имени на «Ч» в наших святцах вроде нет. Может, в честь писателя Айтматова родители Чингизом сына назвали?

— Ну, вы и хохмач, Александр Борисович! — залиvisto рассмеялся Аркадий. — Надо же выдумать такое! Юрием Васильевичем зовут моего хозяина. А «Ч. П.» — это значит «частное предприятие».

— Вот как просто все объяснилось! — сконфуженно крякнул банщик. — А я-то голову ломал! Никак не могу приспособиться к реалиям новой жизни.

— Так я почему здесь давно не был? — вернулся к началу разговора Аркадий. — Сауной теперь пользуюсь. Хозяйской. Босс у меня еще молодой, одноклассник моего сына. Славка меня с ним и свел. Нормальный парень, без выпендрежа, хотя и деньжищами ворочает — ой-ой-ой! На даче у него сауна с бассейном. Пару раз в неделю собирается их компания, такие же молодые ребята, естественно, с девками. Попотеют в сауне, потом само собой — застолье. Летом на веранде они гужуются, зимой в гостиной или бильярдной. Ну, а пока гуляют, нам, водителям, дозволяется сауной попользоваться. Парок, конечно, мы пытаемся там наладить, но все не то. Соскучился я по настоящей баньке. Шефа утром в Киев проводил, он деловые контакты с нашей заграницей налаживает, и сразу сюда.

— Разумно поступил, — одобрил банщик. — Парок сегодня фирменный. У Алексея свои рецепты. В один заход добавляет для вкуса мяту, в другой — ромашку и какие-то еще травы, в третий — эвкалипт.

— Вы уж извините, Александр Борисович, — после небольшой паузы со смущением в голосе произнес Аркадий, — в прошлый раз постеснялся вас спросить, а чего это вы сюда устроились?

— Вопрос понятный, — грустно вздохнул банщик. Конечно, стыдоба это, а что прикажешь делать? Я после института, считай, без малого сорок лет отработал на «Меридиане». Сам знаешь нашу специфику, ничего похожего в городе нет. Так что мой опыт нигде не пригодится. Да и простым инженером сейчас никуда не устроишься. «Станколит» уже лет пять, как закрыли, имени Калинина тоже, на «Радуге» — сокращение большое.

Ну, и возраст мой не в плюс. Вон сколько молодых работу ищут! Да мне б и пенсии хватило, одному много ли надо? Только беда у меня случилась — два года назад сын погиб.

— В Чечне? — участливо спросил Аркадий.

— Нет, — тихо сказал банщик, — в автокатастрофе. Сноха библиотечаршей работает, жалованье грошовое, а на внучонка моего, в честь деда Сашкой его назвали, пособие за потерю кормильца — кот наплакал. Вот я и решил пенсию им отдавать, а чтоб себя прокормить, в банщики подался. Да, поверишь, не так-то просто было сюда устроиться. Пришел к директору, так, мол, и так, слышал, вам банщик требуется, могу предложить свои услуги. Посмотрел он на меня недоверчиво. Шутите, говорит. Что-то вид у вас не больно рабочий, а у нас, извините, работа грязная, специфическая. Справлюсь, обещаю, с детства в баню хожу, представляю эту специфику. А шваброй я четыре года орудовал. На Северном флоте служил. Старший матрос эскадренного миноносца «Удачливый». Думаю, навыков не потерял. Ладно, хмыкнул директор, беру, но с месячным испытательным сроком. Я, как видишь, выдержал испытание.

Наступило долгое молчание. Видно, каждый размышлял о том, как круто повернулась жизнь, раз даже в банщики проблема устроиться. Наконец, Аркадий воскликнул, хлопнув себя по лбу:

— Вот черт! Чуть не забыл! Зверева просила вам привет передать.

— К-какая Зверева? — почему-то заикаясь, спросил банщик.

— Будто не знаете? — голос Аркадия звучал на-смешливо. — В отделе главного технолога работала.

— А-а, Нина Васильевна! — с показным равноду-шием протянул банщик.

— Она самая, — как мне показалось, эти слова Ар-кадий произнес с особым нажимом. — Стою на оста-новке сюда ехать, и она подходит. Узнала меня. Поздо-ровались. Видит, веники из сумки торчат. В баню, спра-шивает. В баню, подтверждаю, ну и говорю, может при-вет передать Александру Борисовичу, если его смена будет. Непременно, говорит, передай.

— Постой, постой! — заволновался банщик. — Ты что, сказал ей, что я здесь работаю? Ох, стыдоба!

— А что тут особенного? — пожал плечами Арка-дий. Разговор начал принимать любопытный характер, и я, хоть и старался не выдать своего к нему интереса, все же стал изредка поглядывать на собеседников.

— Ну зачем, скажи на милость, надо было сообщ-ать ей о моей, нынешней работе? — укоризненно про-говорил банщик. — Подумает, небось, что совсем опу-стился мужик, всякую гордость потерял.

— Да ляпнул по простоте, — принялся оправды-ваться Аркадий. — Не думал, что вы так близко к сердцу принимаете перемены жизненных обстоятельств. Я вон вообще на холуйской работе и то не переживаю особо. Стыдился поначалу, конечно, что дверцу в машине от-крываю сопляку, который мне в сыновья годится, но че-го тут охать! Как нас в школе учили — любой труд поче-тен.

Банщик сидел, низко опустив голову, и нервно те-ребил седой чуб.

— Александр Борисович! — тронул его за колено Аркадий, — вы уж не сердитесь! Да и Зверева ваша спокойно к моим словам отнеслась. Может, знала уже, может, кто другой раньше меня ей о вашей новой работе сказал.

— Так ничуть и не удивилась? — поднял голову банщик.

— Честное слово, ни капельки! — горячо заверил Аркадий. — Не работой она вашей интересовалась, а Просто вами. Спрашивала настойчиво, как здоровье, как выглядите.

— А ничего другого не выведывала? — банщик перешел почти на шепот. — Насчет семейного положения, скажем? Я ведь не только сына, но и жену похоронил в позапрошлом году.

— Да не успели мы с ней потолковать как следует, — не снижая голоса, ответил Аркадий, — тут мой «девятый» подошел, а она «третьего» ждала. Но вдогонку крикнула: «Не забудьте Александру Борисовичу привет передать!»...

При этих словах в предбаннике появилась отливающая медью мускулистая фигура бригадира Алексея, и раздался его зычный призыв:

— Готовсь. мужики! Через три минуты заход. Опоздавших не пускаем!

Аркадий моментально скинул трусы, нахлобучил на голову шляпу-колпак, подхватил веники и рысцой припустил в парную.

Я чуть замешкался и услышал, как вздыхает и охает Александр Борисович.

— Ох, стыдоба! Ох, стыдоба! Видно, это несуразное словцо было у него в чести...

После парилки я решил пройтись по телу мочалкой, но только взбил мыльную пену в шайке, как услышал над ухом уже знакомый голос Аркадия. Оказывается, он устроился как раз напротив меня.

— Давайте потру вам спинку, а потом вы мне, — предложил он.

Продраил меня Аркадий основательно, на совесть. Думаю, и я ему угодил. В предбанник мы возвращались вместе. В дверях столкнулись с Александром Борисовичем, который шел убирать мыльное отделение.

Аркадий, как принято нынче говорить, оказался весьма коммуникабельным субъектом. В предбаннике он подсел ко мне и, сходу перейдя на «ты», поинтересовался:

— Извини за любопытство, но что-то я тебя здесь раньше не встречал. Предпочитаешь «Железнодорожные»?

— Нет, просто я приезжий, — объяснил я. — Здесь всего третий раз. А послезавтра уезжаю. Так что, можно сказать, это прощальный визит. Понравились мне ваши бани. Ну, во-первых, и главное — парок отменный. А во-вторых, кругом все чистенько, опрятно и шайки не в дефиците.

— Это заслуга Александра Борисовича, — кивнул в сторону тумбочки банщика Аркадий. — Раньше здесь грязновато было. А он, может, обратил внимание, чуть лужицу в предбаннике увидит, туг же шваброй пройдет, на скамье мокрый след от задницы останется —

не поленился тряпочкой протереть. Аккуратист! Морская выучка — на Северном флоте служил.

Я придал лицу заинтересованное выражение, словно сообщаемая им информация была мне внове.

— Да, заковыристо жизнь повернулась, — покачал головой Аркадий и, обнаружив в моем лице заинтересованного слушателя, с увлечением продолжил рассказ о личности банщика. — Не веришь, а Александр Борисович у нас на «Меридиане» начальником цеха был. На работу он меня принимал. По заводским масштабам шишка немаленькая, восемьдесят человек в подчинении, а теперь вот — банщик, обслуга, совсем неавторитетная работенка. Но он и здесь на совесть пашет. Старое воспитание. Наш цех по заводу чаще других первенство держал. И по производственным показателям и по чистоте. К работягам Александр Борисович хорошо относился. За меня, лично, в профкоме хлопотал, чтоб первым в очереди на «Москвич» поставили как лучшего токаря завода, и гордый был, с начальством часто цапался. Потому и вверх его не двигали. Ну, а когда персональное дело на него завели, тут уж забудь о карьере.

— А что за дело? — уже без всякого притворства поинтересовался я.

— Известно какое, — лукаво подмигнул Аркадий. — Из-за бабы. Роман он закрутил с одной инженершей. Симпатичная такая, фигуристая. Помоложе его. Он и сейчас в порядке, а тогда в полной силе был мужик. Эта история еще перед перестройкой случилась, он и пятидесяти не разменял. И кто-то на них стукнул в партком. То ли из соседей кто, то ли его супружница. В те годы у

баб была такая мода партийному начальству жаловаться, если муж налево стал ходить. Сейчас с этим делом свободно, блядуй — не хочу! А тогда сигнал поступил — сразу на ковер. Между прочим, у Александра Борисовича серьезное вроде чувство оказалось к этой Зверевой. Он даже на парткоме в открытую заявил про свою к ней любовь. Ну, ему на выбор: любовь или партбилет.

— И он, разумеется, партбилет выбрал, — предположил я.

— А вот и ошибся, дорогой товарищ, — качнул головой Аркадий.

— Он-то любовь выбрал. А вот она, Зверева то есть, в конце концов, отказалась от него. Не захотела семью разрушать. Она-то разведенная, одинокая, а у него сын-школьник. Так и объявила: люблю, говорит, Александра Борисовича, но не прощу себе, если сын при живом отце сиротой останется и без мужского догляда собьется с пути истинного.

— И что, так они и расстались? — вырвалось у меня.

— Так и расстались, — вздохнул Аркадий. — Ему все равно строгача вlepили, а она уволилась. В какое-то КБ перебралась. У нас город, хоть не ахти какой большой, а если не соседи и не по работе знакомые, годами можно не встретиться, особенно когда стремления к этому нет. Я ведь эту Звереву с того времени не видел, а сегодня жду троллейбуса, подходит она — сразу узнал. За столько-то лет постарела, конечно, но еще ничего бабец! Она меня тоже признала. Пот говорили немного. Про Александра Борисовича спросила, не вижу ли его случайно. А если увижу, чтоб привет ему пе-

редал обязательно. И, знаешь, когда его имя назвала, глазки так и заблестели. Я под дурачка сыграл: болтаем, мол, мы с вами, а вдруг муж ваш ревнивый появится, физиономию мне набьет? А она смеется: не бойся, Аркадий, я — баба-вековуха, так никого себе и не нашла. Смеется-то смеется, а глаза мокрые. Ну, я тему переменял, любопытствовал, где работает. КБ ихнее давно прикрыли. Челночным бизнесом попробовала она заняться, да неудачно. Чего-то посоветовали — ей купить для продажи, а спрос на тот товар уже прошел. Так что еле с долгами расплатилась. Нет, если уж нет в тебе жульнической жилки, в торговлю лучше не лезь! В общем, год ей до пенсии остался, и она, чтоб стаж не терять, лифтершей устроилась. Как раз в том доме, где один из приятелей моего босса живет...

Он вдруг замолчал, хитро посмотрел на меня и хмыкнул:

— А что, дорогой товарищ, может, подсказать Александру Борисовичу этот адресок? Как думаешь, сладится у них по новой?

Я не успел ответить, потому что в этот момент раздался зычный голос меднотелого Алексея:

— Внимание, мужики! Последний заход! Кто опоздает, пеняйте на себя!

1999 г.

ЖЕЛТЫЙ ТЮЛЬПАН С ЧЕРНЫМ ЛЕПЕСТКОМ

Крайне неловко чувствовал себя Олег Петрович перед вдовой своего непосредственного начальника, теперь, разумеется, уже бывшего, Федора Ильича Тетеряникова, отказавшись пойти на поминки. Но планы на этот день у него были другие, можно сказать, совершенно противоположного свойства. Ирина ждала к обеду. Новая любовница. Впрочем, старых у него и не было. За одиннадцать лет супружеской жизни так пара эпизодов, в командировках. А с Ириной вроде намечается постоянная связь. В фирме, где он с недавних пор служит, судя по откровенным разговорам мужиков, у каждого есть подружка на стороне, сексуальная партнерша, как они их называют. На его же последнем месте работы — в отделе главного механика, да и во всем заводууправлении «Красного факела» до сих пор сохраняются пуританские нравы времен Морального кодекса строителей коммунизма.

С Ириной Олег Петрович познакомился неделю назад. Проводил жену с сынишкой на лето в деревню к бабке, зашел перекусить в стоячую закусную на вокзальной площади. Взял пару сосисок, ну и под них сто грамм. Только опрокинул стакан, подходит к столику девушка в синем платице. Воротничок — белый, рукава и кармашки тоже белой материей оторочены — униформа.

— Не возражаете? — спрашивает и, не дожидаясь ответа, сгружает с подноса тарелку пельменей, салат из помидоров и чашку кофе.

Олег Петрович пожал плечами, мол, пожалуйста, располагайтесь, места на двоих хватит, хотя рядом совсем свободные столики. Минуты две жевали молча. Он искоса поглядывал на нее. Мордашка так себе, серые глазки, показалось, чуть косят, носик утиным клювиком, тонкие губы, чтобы скрыть этот недостаток, щедро намазаны ярко-алой помадой. Но фигурка, кажется, ничего. От водки аппетит разыгрался, сходил взял тоже порцию пельменей и, понятно, еще сто грамм. Шутя, предложил соседке выпить с ним за компанию. — Спасибо, — ответила серьезно. — В другой бы раз с удовольствием, а сейчас не могу — на работе. Забежала сюда в обеденный перерыв.

— И что у вас за работа?

— А вон, — кивнула в окно, — гастроном видите? Кассиром работаю в молочном отделе.

— Так у вас там еды навалом!

— Да мы, и правда, часто сами на плитке супчик готовим и картошечку отвариваем, а сегодня грозилась пожарная инспекция заявиться. Девчонки решили сухомятку обойтись, а я люблю, горяченькое. А вы, наверное, приезжий, раз здесь обедаете?

— Не угадали, — мотнул головой Олег Петрович. — Я здешний, коренной житель, абориген. Просто временно холостякую. Супругу вот с сыном отправил на летние каникулы в деревню, и теперь вольный казак. — И без всякого перехода, видно, водочка подействовала, спросил игриво. — А вам нравятся вольные казаки?

Девушка вскинула глаза — да нет, они вроде не косят, и цвет их в приятную голубизну отдает — с минуту глядела на него изучающе, потом хмыкнула:

— А что, вы неплохо смотрите! Приятно было с вами рядышком постоять. — Взглянула на часики. — Ой, мне пора бежать!

— Пойдите! — попросил Олег Петрович. — Мы даже не познакомились.

— А это обязательно? — улыбнулась кокетливо. — Ириной меня зовут. А вас?

Вместо ответа он протянул визитную карточку. Это был первый случай, когда она понадобилась. Федор Ильич Тетерятников, оформляя его на работу, настойчиво рекомендовал сразу же заказать визитки — обязательный атрибут современного делового, человека. На белом картонном прямоугольнике вытеснена золотая марка фирмы и черным под готику шрифтом: «Матюнин Олег Петрович. Консультант компании «Росшвеллер», а в нижнем левом углу рабочий телефон и факс.

Ирина, внимательно изучив визитку, сделала удивленные глазки:

— А Росшвеллер — что это такое? Фамилия вашего босса?

— Это не фамилия, — рассмеялся Олег Петрович. — Росшвеллер — значит «Российский швеллер». А швеллер — это такая стальная балка.

— Так вы — сталевары?

Ему послышались в голосе Ирины нотки разочарования, и он поспешил с объяснениями.

— Ну, во-первых, швеллеры делают не сталевары, а прокатчики. А, во-вторых, наша компания производством не занимается. Мы — посредники. Наша задача найти для поставщика выгодного покупателя, а для по-

купателя выгодного поставщика. Ну и, безусловно, чтоб самим была выгода.

— Словом, вы вроде сводников, — подытожила Ирина, усмехнувшись.

— Интересное определение! — восхищенно крутанул головой Олег Петрович. — Надо взять на вооружение. — И про себя подумал: «А девушка-то с юмором, вот какие нынче пошли кассирши!».

Ирина сунула визитку в сумочку и, предупреждая его вопрос, вздохнула:

— А у меня телефона нет. Живу у черта на куличках, в новом Пятом микрорайоне, конечная остановка седьмого автобусу.

Когда она уходила, звонко стуча каблучками по кафельному полу, Олег Петрович посмотрел ей вслед и пришел к выводу, что фигурка у девушки в полном порядке. И вспомнился стишок школьных времен: «Ну и попка, как орех, так и просится на грех!».

Вот он и согрешил. Не надеялся, что эта мимолетная встреча будет иметь продолжение, а Ирина уже в понедельник позвонила. Он сразу и не понял, кто это.

— Какая Ирина? — удивился.

— А их у вас много? — услышал короткий смешок. — Пельмени вместе лопали. — И не стала рассусоливать, предложила сходу. — Ну, как, вольный казак, вечером свободны? Пригласите девушку на дискотеку или в ресторан!

Встретились после работы. Конечно, на дискотеку не пошли. Он смущенно сказал, что, пожалуй, уже вышел из дискотечного возраста, а Ирина и не настаивала, дескать, предложение насчет дискотеки было сделано в

шутку, она ведь тоже далеко не девочка. Тут он комплимент отпустил, что больше двадцати ей никак не дашь, а то и всего восемнадцать.

— Ценю вашу галантность, улыбнулась она, — но мне пока свой возраст можно не скрывать, скоро двадцать семь стукнет.

«Всего на пять лет моложе Тамары, — невольно отметил про себя Олег Петрович, — а выглядит и, правда, совсем молоденькой. Следит, курица, за собой. Хотя вон пельмени уплетала за обе щеки»...

Ужинали в ресторане «Эльбрус». Он и забыл уже, когда в последний раз посещал подобные заведения, на зарплату заводского инженера по кабакам не походишь. Но сейчас в бумажнике лежала первая получка новоиспеченного консультанта, на три порядка больше прежней. Да в конце месяца, проинформировал Федор Ильич, выдадут премиальные из директорского фонда. Только, предупредил, вы о своем заработке не очень распространяйтесь. Кто спросит, ответьте с улыбочкой, что нынче не принято в чужой карман заглядывать, на жизнь, мол, хватает, и точка. Любит Федор Ильич поучать, читать нотации. Он этим отличался и на «Красном факеле», где служил инспектором отдела кадров. Бывало, только устроятся мужики на лестничной площадке покурить да потравить анекдоты, как через минуту просовывается в дверь плешивая голова кадровика: «Что-то вы зачистили с перекурами, а работа не ждет. Хватит, товарищи, трепаться!». Что и говорить, занудливый человек, однако Олег Петрович ему благодарен. Это Федор Ильич пригласил его в «Росшвеллер», сам-то он уже пять лет как с завода ушел. Встретились они случайно

на улице, поинтересовался бывший кадровик, как дела на родном «Красном факеле», услышал честный ответ, что хреново, и предложил перейти в солидную фирму, где сейчас служит...

Хотя и говорила Ирина, что в «Эльбрусе» кормят вкусно, и цены терпимые, но, когда расплатился, осталась в бумажнике одна сотенная с мелочью, а и взяли всего по сациви и шашлыку да пару бутылок шампанского. Сначала он чувствовал себя с ней скованно, но вино постепенно придало уверенности, и Олег Петрович рассказал несколько смешных случаев из своей жизни, и они действительно были смешными, по крайней мере, Ирина смеялась искренне и заливисто.

Шампанское и ей язык развязало. Правда, ее рассказ был, напротив, довольно печален. Он узнал, что сама она из глубинки, из учительской семьи. Хотела пойти по стопам родителей, поступила в педагогический на истфак. Но на втором курсе угораздило выскочить замуж. Муж из «новых русских». Каким он бизнесом занимался, она, честное слово, до сих пор не знает, но денег у него было немерено. Учебу, понятно, бросила. Забот и так хватало. Квартиру он купил в обкомовском доме — евроремонт затеяли, дачу строили — повседневный контроль за работягами требуется, а тут еще надо научиться машину водить, ну и, само собой, рестораны, сауны, пикники на природе. Красиво жить не запретишь! А потом в один момент все рухнуло. Вадим, так ее мужа звали, набрал кредитов, чтобы провернуть какое-то многомиллионное дельце, только оно лопнуло. В погашение долгов продали и белый форд и дачу недостроенную, из трехкомнатной в центре пере-

брались в однокомнатную на окраине. Да все равно рассчитаться полностью с кредиторами он не смог. Поставили его на «счетчик». Это, объяснила, когда у должника проценты чуть ли не в геометрической прогрессии начинают расти, и если он к определенному сроку долг не отдаст, то расплачивается уже жизнью. Так с Вадимом и вышло. Официальная причина смерти — самоубийство, в состоянии депрессии выбросился с двенадцатого этажа. А, может, действительно сам выбросился, не стал дожидаться, когда другие его выбросят. Но никакой записки не оставил. После смерти мужа подбивали к ней клинья его дружки, но она теперь этих «новых русских» за три версты стороной обходит. А жить меж тем как-то надо, вот и устроилась кассиршей, пока ничего лучшего не подвернулось. Не на панель же идти!

Трогательная история! Олег Петрович слушал и не мог понять, так ли все было на самом деле или сочинила Ирина детективную историю, довольно-таки банальную, позаимствовав детали из криминальной хроники, что дает по субботам городская «Вечерка». А, впрочем, зачем ей врать? Она сразу его успокоила, что видов на него не строит и семью разрушать не собирается. Просто соскучилась по мужику, а он ей глянулся и захотелось испытать его в качестве любовника, если, конечно, не возражает. Такой откровенности Олег Петрович не ожидал и залился густым румянцем. Ирина, заметив его смущение, расхохоталась:

— А ты, — они уже выпили на брудершафт, — ведешь себя, как красна девица. Мы с тобой взрослые люди. Я ж не дура, чтоб не понять, на что ты рассчитывал, когда мне свою визитку давал. Не будем же мы,

прежде чем в постель завалиться, бегать, взявшись за ручки по ночным улицам, а ты еще станешь стихи читать. Хорошо, если Есенина, а то собственного сочинения вирши. Это я уже на первом курсе прошла.

Она права, конечно, думал Олег Петрович, когда ехали в такси к ее дому. Но уж как-то цинично получается, по-деловому. Все-таки в отношениях между мужчиной и женщиной должна быть хотя бы маленькая тайна. Они с Тamarой впервые поцеловались, наверное, только через месяц после знакомства... М-да, ему еще сорока нет, а как здорово отстал от жизни. Сейчас вон как все элементарно! И ведь Ирина не путана какая, просто современная женщина без предрассудков и условностей — так она себя охарактеризовала. И почему-то вспомнилась телевизионная реклама: «Новое поколение выбирает «пепси»...

В постели Олег Петрович не подкачал. Четыре раза они душ принимали. Но, надо признать, первую скрипку играла Ирина. Чего она с ним только ни вытворяла, вспомнишь — вздрогнешь! Как говорит его новый коллега Максим Чебаков, делаясь впечатлениями об очередном любовном приключении, «накувыркались до посинения ногтей».

Утром Ирина его разбудила, уже одетая, намакияженная.

— Вставай, казак, да побыстрее — на работу опаздываю!

— А, может, приляжешь? — предложил, откидывая одеяло.

— Ишь, неугомонный! — она шутливо погрозила пальчиком. — Придется нам перерыв сделать. Трудные дни у меня начались.

— Ревизия что ли какая? — не понял Олег Петрович.

— Дурачок! — она так и зашлась от смеха. — По женской части ревизия. Телевизор смотришь? Какую рекламу чаще всего показывают? Вот эти прокладки мне уже с утра и понадобились.

Олег Петрович почувствовал, что краснеет. Нет, все-таки до чего же она бесстыжая! Могла бы быть поскромнее.

— Но к субботе буду в боевой форме! — продолжила Ирина в том же покоробившем его духе. — У меня как раз по графику выпадает выходной. Так что можно начать наши сексуальные игры пораньше. Приглашаю к обеду. У тебя, поняла, денег не густо, на ресторан уже, пожалуй, не потратишься. Купи бутылочку шампанского и цветочки, и девочка будет довольна.

В четверг в десять утра позвонила, подтвердила, что приглашение к субботнему обеду остается в силе. Ждет к трем часам, и чтоб не опаздывал, собирается угостить его щами из молодой капусты, а они хороши, когда прямо с плиты, подогретые уже не то.

А в двенадцать умер Федор Ильич Тетерятников. Прямо на рабочем месте, у всех на глазах. Бумажка какая-то у него со стола упала, он наклонился ее поднять и повалился на пол. Острая сердечная недостаточность. А мужику всего пятьдесят семь, даже до пенсии не дотянул.

Все думали, что похороны будут в понедельник, но родственники покойного подсуетились — за каждый день нахождения тела в морге теперь приходится выкладывать немалую сумму — и в пятницу было объявлено, что в свой последний путь Федор Ильич отправится завтра, панихида в двенадцать часов прямо на кладбище.

На похороны пришло человек двадцать пять. Жена и двое взрослых дочерей — Олег Петрович определил их среди женщин в черном по заплаканным лицам, — восемь человек с работы, почти треть коллектива, остальные, очевидно, родственники и друзья.

Открыл панихиду заместитель генерального директора компании Станислав Евгеньевич, совсем еще парнишка, из тех, про кого говорят, «молодой, да ранний». В столь ответственной роли выступал он впервые, но траурную церемонию провел на должном уровне. Свое прощальное слово Станислав Евгеньевич начал с того, что Федор Ильич пользовался заслуженным уважением у коллег, к своим обязанностям относился добросовестно, и на вверенном ему участке работы все всегда было в полном ажуре. Среди достоинств покойного особо были отмечены пунктуальность и вежливость. Принадлежа к поколению, на которое наложило свой неизгладимый отпечаток время застоя, он, тем не менее, правильно воспринял наступившие перемены и стал горячим поборником рыночной экономики. Таким, как Федор Ильич Тетерятников, с пафосом заключил зам. генерального директора, принадлежит будущее России. (Тут Олег Петрович невольно усмехнулся, потому как будущее с покойниками не очень-то соотносится).

Следом выступил сосед по лестничной площадке крепкий басовитый старичок из вымирающей породы активистов-общественников. Тот сосредоточил внимание на том, что Федор Ильич имел авторитет и среди жильцов дома, где проживал с момента его заселения в 1971 году, потому как, во-первых, был хорошим семьянином и дочек воспитал скромными и послушными, они во дворе никогда не безобразничали, не то, что нынешние ребятишки, которые насмотрелись всякой гадости по телевизору, а во-вторых, он всегда в числе первых выходил на субботники по уборке дворовой территории, и жаль, что эта славная традиции прервалась, и вообще не все было плохо в нашем недалеком прошлом.

Станислав Евгеньевич спросил, не желает ли еще кто выступить. Все молчали, потупив глаза. Олегу Петровичу стало жалко покойника, которого еще два дня назад что-то связывало с этими понуро стоящими у могилы людьми, и вот он умер, и они уже вычеркнули его из своей жизни. Могильщики взялись было за крышку гроба, и тогда Олег Петрович, сам того от себя не ожидая, выступил вперед и попросил слова.

Из его речи выходило, что он многим обязан Федору Ильичу Тетерятникову, которого знал еще по совместной работе на известном всей стране заводе «Красный факел», можно даже сказать, считает его своим наставником. Федор Ильич давно ушел с завода, и вот спустя годы Олег Петрович случайно встретил покойника на улице... Здесь он запнулся, потому как понял, что тоже выразился нескладно — покойники по улицам не гуляют — и стал уточнять: де, встретил еще

живого Федора Ильича, и тот предложил ему перейти в компанию «Росшвеллер», где, конечно, условия работы на несколько порядков лучше заводских. А ведь кто другой, может, и не узнал бы его на улице или бы сделал вид, что не узнал, а Федор Ильич узнал и принял участие в судьбе простого инженера. Произнося ни слова, Олег Петрович посмотрел на гроб и ему показалось, что лицо покойника приняло насмешливо-брезгливое выражение, и вот-вот откроется серый запавший рот, чтобы сказать: «Хватит трепаться, господа!». И Олег Петрович стушевался, промямлил еще какие-то совсем необязательные слова и с облегчением заключил: «Пусть земля ему будет пухом!».

Панихида закончилась. Два или три человека, очевидно, родственники поцеловали покойного в лоб, дочери и жена — в губы, могильщики сноровисто заколотили крышку гроба и, отвергая помощь посторонних, вдвоем ловко опустили его в могилу. Уже через пять минут вырос земляной холмик. Посередине его могильщики вырыли небольшие ямки и поставили в них две двухлитровые банки с водой, которые предусмотрительно прихватила с собой сухонькая старушка в не по погоде шерстяной черной кофте. В банки поместили цветы, а над ними шалашиком, чтобы скрыть их от глаз потерявших совесть бомжей, могильщики устали венки. Один — «Любимому мужу и отцу от жены и дочерей», второй — «Дорогому Федору Ильичу Тетерятникову от компании «Росшвеллер». Цветов было немного, и это были исключительно красные гвоздики, кроме шести желтых тюльпанов, которые принес Олег Петрович.

Цветы он покупал в киоске рядом с домом. Выбор там был богатый, но сплошь букеты, завернутые в праздничные ажурные целлофаны и перевязанные шелковыми лентами. Предназначались они отнюдь не для покойников, да и цены кусались. А у Олега Петровича после похода с Ириной в «Эльбрус» и покупки для сегодняшнего обеда бутылки шампанского и бутылки «Смирновской» — он справедливо рассудил, что шампанское под щи не годится — с деньгами была напряженка. Из штучных же цветов предлагались лишь красные гвоздики и ярко-желтые чуть распустившиеся тюльпаны. Гвоздики он отверг по той причине, что считаются они цветком революционным, а Федор Ильич неоднократно подчеркивал свою приверженность к правым либеральным идеям. Когда Олег Петрович ехал в автобусе на кладбище, он от нечего делать внимательно рассмотрел свой скромный букетик и обнаружил, что самый маленький цветок оказался с брачком — к желтым лепесткам прилепился один черный. А, может, это просто сорт такой, подумал Олег Петрович и не стал огорчаться.

С похорон возвращались гуськом по узкой тропке между могильными оградками. Олег Петрович оказался в конце процессии. Впереди шла вдова с дочками. У ворот кладбища она остановилась и, пропуская мимо себя людей, говорила каждому: «Прошу к нам домой помянуть Федора Ильича». Олег Петрович услышал по-мальчишески звонкий тенорок Станислава Евгеньевича: «Рад бы, но никак не могу. В три часа у нас переговоры с греческими компаньонами».

«Нет, а все-таки наш зам. генерального малость глуповат, — заключил Олег Петрович. — Его «рад бы» никак не подходит к такому печальному мероприятию как поминки». И он стал лихорадочно придумывать, как сформулировать свой отказ, чтобы не обидеть вдову. Ничего путного в голову не приходило. Ссылаться на несуществующую язву желудка — самую распространенную причину отказа от выпивки — было рискованно, потому что ему могли сказать: «А вы просто посидите с нами и пейте минеральную», и тогда уж не отвертишься. Но когда до него дошла очередь выслушать приглашение: «Молодой человек, вы так тепло говорили о Федоре Ильиче. Прошу к нам помянуть его», вдруг осенило повторить сказанное Станиславом Евгеньевичем:

«Извините, никак не могу. У нас в три часа переговоры с греками».

— Понимаю, — поджала губы вдова. — У нас всегда дело прежде всего.

— Но я обязательно выпью сегодня за помин души Федора Ильича, — горячо заверил вдову Олег Петрович.

Вся траурная церемония заняла чуть более получаса. Можно было не спешить, а пешочком пройти одну остановку до Театральной площади, где конечная его третьего автобуса, а, кстати, и седьмого, на котором ему предстояло добираться до Ирины.

Дома он переменял приличествующий похоронам темный костюм на более подходящие для любовного свидания светлые загодя отутюженные брюки и легкую пеструю рубашку с короткими рукавами. Оглядев себя в зеркале и, убедившись, что он действительно, по признанию Ирины, смотрится очень даже неплохо, Олег

Петрович прихватил портфель с бутылками и в бодром настроении отправился к своей, как теперь, наверное, имел уже право говорить, сексуальной партнерше.

О том, что надо купить цветы, хватился только когда сошел с автобуса на Театральной, чтобы сделать пересадку. Окинул взглядом площадь — как назло, ни одного цветочного киоска. Он совсем было расстроился, но вспомнил, что на Чайковского, всего в пятидесяти метрах отсюда, есть большой фирменный магазин «Цветы». Однако уж не повезет, так не повезет — на дверях магазина висела табличка «Перерыв на обед с 14 до 15». Олег Петрович чертыхнулся и решил плюнуть на цветы, может, взамен их купить коробку конфет, но тут за спиной услышал хрипловатый женский голос:

— Мужчина, вам цветочки нужны?

Он обернулся и увидел странную особу с сивыми нечесаными патлами и высохшим морщинистым личиком кирпично-коричневого цвета. «И когда успела загореть, ведь лето только началось?!» — подумал недоуменно. В протянутой к нему руке особа держала бумажный пакет, из которого высывались головки желтых тюльпанов.

— Последний букетик остался, — жалобным нищенским тоном заканючила старуха. — Всего за пятнадцать рубликов отдаю. По трешнику за цветочек, а в киосках они по пятерке.

От нее так пахло перегаром, что Олег Петрович невольно поморщился. Она по-своему истолковала его гримасу и торопливо проговорила:

— Такому симпатичному так и быть уступлю за червонец.

Из-за поворота показался седьмой. Олег Петрович взглянул на часы — время уже поджимало. Он быстро достал бумажник, отдал десятку алкашке, пакет с цветами сунул в портфель и рысцой припустил за автобусом. Водитель оказался не вредный, с понятием и подождал, пока в заднюю дверь не заскочит опаздывающий куда-то го пассажир.

Конечно, и под ши и под предшествовавшую им селедочку пили «Смирновскую», но Ирина попросила его особенно на водочку не налегать.

— Алкоголь в больших дозах, — произнесла наставительно, — ослабляет мужскую потенцию.

Вроде выпил Олег Петрович совсем немного, а совсем не так увлеченно, как в тот раз, занимался он с Ириной любовью. Ее бесстыдство и в разговоре и в постели, если раньше лишь смущало его, то теперь начинало коробить. Она заметила перемену в нем и, когда он вернулся из ванной, спросила с укором: Я тебе уже надоела, да? — Что ты! — фальшиво улыбнулся он. — Мне с тобой хорошо. Просто с утра было много дел, устал.

Что за дела, она не стала спрашивать, а сказала только:

— Ну, если устал, насиловать тебя не буду. Набирайся сил, казак, поспи часок-другой, и я тоже вздремну.

Она повернулась к стене и уже через минуту начала тихонько посапывать. А Олегу Петровичу не спалось. Он долго лежал на спине, бездумно уставившись в потолок. Потом осторожно, боясь разбудить Ирину, встал, сунул ноги в выданные ему безразмерные шлепанцы —

такие, отметил с усмешкой, для любого мужика сгодятся — и пошел покурить на кухню. На пороге обернулся, услышав какой-то шелест. В комнате было душно, и Ирина во сне скинула с себя простыню. Олег Петрович пристально посмотрел на нее — голая чужая женщина.

На кухне, где они обедали, на столе осталась стоять ваза с цветами, которые он принес. Только сейчас Олег Петрович обратил внимание, что один тюльпан был с черным лепестком, совсем как тот из его траурного букета. И вспомнил, что забыл выполнить данное вдове Федора Ильича Тетерятникова обещание — выпить за упокой души ее мужа. Он вынул из холодильника початую «Смирновскую», налил полную рюмку и, глядя в окно на предзакатное солнце, тихо прошептал: «Царствия вам небесного, Федор Ильич!». Залпом осушив рюмку, Олег Петрович запил водку пепси-колой из бутылки, стоявшей на столе. Пепси была теплой и приторной, и во рту стало нестерпимо мерзко.

1999 г.

ЖАЛОСТЬ

По телевизору передали сообщение, что жена Горбачева Раиса Максимовна тяжело захворала. Лечить увезли ее за границу. Видно, у нас не нашлось хороших докторов. Да и откуда им взяться? Платят медицинским работникам сущие гроши, они потому не о больных пекутся, а о том, как бы выкрутиться, как бы семью прокормить. Весной ездила баба Маня в районную больницу. Тогда она впервые себя плохо почувствовала, слабость стала, и голова часто кружилась. Ну и что та поездка дала? Два дня только потеряла. Попервоначально анализы заставили сдать. Результаты — на следующий день. Хорошо, Катерина Семенова, подруга молодости, приютила, а то б домой за пятьдесят километров возвращаться, переночевать и — снова в дорогу. Врачиха, женщина еще не старая, но вид у нее усталый, хмурый, повертела те листочки с анализами, повздыхала и говорит:

«Кровь у вас плохая, бабушка. А чтоб поправить ее, дорогие лекарства требуются, вам не потянуть такие расходы. Да у нас и нету нужных вам лекарств. И в области, знаю, — тоже. Если сильные боли донимать будут, принимайте анальгин, и снотворное я вам выпишу. Вы сказали, вам шестьдесят семь, так в этом возрасте, дорогая, на помощь медицины особо и нечего рассчитывать». Утешила, называется.

И май, и июнь, и июль баба Маня еще копошилась. Грядочки под морковку, свеколку и огурчики сама вскопала, а под картошку две сотки Андрей Валенок своим

малым тракторочком обработал. Хороший он человек, ничего с нее не взял. Лето жаркое выдалось, огурцы рано уродились. Кадушку их успела засолить, а в Ильин день слегла. Поначалу еще кое-как до уборной доползала, а тут второй день и пяти шагов сделать не может. Пришлось ведро помойное для нужды приспособить. Сегодня стала с него вставать, а в голове помутилось, упала и ведро то опрокинула. Так в луже вонючей с час, наверное, и провалялась. От стыда все слезы выплакала, а сил подняться — нет. Серафима, соседка, вечером, как обычно, зашла, ни словом не попрекнула за такую срамоту, бачок воды быстренько вскипятила, обмыла ее, передела в чистое, и пол вымыла, да еще сбегала полыни нарвала, протерла половицы той полынью, чтоб запах нехороший перебить.

Потом заставила чашку козьего молока выпить — это ей в подарок. Татьяна Вахромеева двухлитровую банку переслала, она козочек держит. Самая удоинная — Розка, до трех литров дает. Ну, а может, прихвастывает Татьяна. У каждой женщины в их Новых Выселках свой предмет гордости. У Татьяны — Розка. У Серафимы — сирень в палисаднике, такой пушистой и пахучей во всей округе нет. Наташа Молчунья знает лекарственные способности разных трав, про нее даже в газетке районной писали. А бабе Мане лучше всех в деревне соленые огурцы удаются. Секрет простой — женщины на колодезной воде их делают, а она не ленилась за два километра сходить в Дальнюю рощу за родниковой. Только нынешний засол у нее не на родниковой. Захворала. Вот и весь ответ. Сколько она протянет, одному Богу известно, но если не на поминки, то уж к сороко-

вому дню напитают огурчики духа укропного, смородинового и чесночного, от дубового листа крепости наберут. Которые придут проводить ее выпьют по первому стакану, закусят, и кто-нибудь из мужиков скажет: «Ох, искусница была баба Маня огурцы солить, ядреные, хрустящие, а енти что-то не в той плепорции». А Серафима, добрая душа, смягчит упрек справедливый: «Не под то настроение выпиваем, вот они и не в сладость».

Представила баба Маня эту грустную картину, и слезы полились из глаз.

— Чего это ты разнюнилась?! — строго прикрикнула соседка. — Мысли невеселые в голове не держи! Расскажи-ка лучше, что в мире делается, что там по ящику передавали?

Серафима перед тем, как на работу бежать — подфартило ей, три месяца назад устроилась на кирпичный завод в соседней Ольховке — заскочит к бабе Мане, поставит на тумбочку у изголовья чего пожевать-попить, телевизор обязательно включит, чтоб не скучала, значит, больная. Самой-то теперь не до телевизора. Это раньше на кирпичном заводе работа была, как Андрей Валенок определяет, не бей лежачего — сплошные перекуры с дремотой или пьянкой. Теперь там хозяин — Юрка Свининников, бывший районный комсомольский секретарь. Только не Юрка он уже, а Юрий Михайлович. А еще любит, усмехалась Серафима, чтоб величали его «господин директор». Суровый оказался парень. Как завод откупил, первым делом разогнал всю пьянь, а нанял женщин, да не молодых — у тех гулянки на уме или дети малые, а кто уже к пенсии приближается, той же Серафиме пятьдесят четыре — они и совестливее и без-

ответнее. Прикажет директор — и десять часов отпашут и в выходной придут без всяких отгулов. Кирпичное производство нынче дело прибыльное, заказов хоть отбавляй. Когда в больницу баба Маня ездила, в окошко автобусное глядела и все ахала — там дом строят, да не деревенский, а в два этажа, с башенками, с загогулинами какими-то, а там — еще почище, а на крутом бережку Серебрянки так целый поселок растет. Места здесь красивые, вот и облюбовали их для своего дачного отдыха областные жители, кто побогаче...

— Чего притихла? — легонько потормошила ее за плечо Серафима. — Спрашиваю, какие новости по телевизору? Грозилась пенсию повысить, не было еще указа?

— Вроде не объявляли. Да я вполглаза смотрела, вполуха слушала, — виновато ответила баба Маня. — Все больше дремала, а потом, ишь, опозорилась. Помирать мне надо, подружка.

— Ты эти разговоры брось! — по-настоящему рассерчала Серафима. — На тот свет всегда успеем. Я тут по дороге Наташку Молчунью встретила, рассказала ей про твою хворь, она обещалась чай тебе целительный наладить из двенадцати трав. Недельку-другую, говорит, попьешь, и силы вернутся. А еще Андрей Валенок послезавтра в область собирается, так я накажу, чтоб в аптеку зашел и утку тебе купил.

— Какую такую утку? — не поняла баба Маня.

— Посудина специальная для лежачих больных, — объяснила соседка. — С ней тебе сподручнее будет, чем на ведерко-то ходить.

— Ты уж меня перед мужиком совсем опозоришь, — засмущалась баба Маня.

— Ничего позорного в том нет. Хворь, она стыдные дела извиняет, — наставительно произнесла Серафима и принялась расхваливать ту самую утку, как, мол, удобно ею пользоваться, и сокрушалась, что раньше про нее не сообразила. А потом, уж домой собралась, подошла телевизор выключить и вспомнила про свой вопрос первый.

— Так что там, баба Маня, в мире делается? Ты у меня теперь вроде политинформатора. Я от работы так устаю, что свой ящик и включать перестала. А у Пашки моего, сама знаешь, кроме водки, ни к чему другому интереса нету.

— Что углядела, так ничего хорошего, — сокрушено сказала баба Маня. — Засуха урожай уполовинила, да к тому ж бензина для комбайнов не хватает. В Дагестане сущая война начинается. В Индии, кажется, поезда столкнулись, много народа погибло и покалечилось... Да, о главной-то новости чуть не забыла: у Горбачева, который раньше у нас верховодил, жена тяжело захворала. За границей лечится. Он при ней неотступно. Переживает.

— Ой, напасть-то какая! — всплеснула руками Серафима. — Ой, горюшко! Ой, как жалко бедную! Наши бабы не больно ее жаловали, а мне она очень даже нравилась. Тоненькая, аккуратненькая, и голосок, как у горлинки. Помнишь, у Хрущева жена была обличьем чисто наша деревенская баба, такую по заграницам не повозишь. А Раису Максимовну не совестно было миру

показать. Горбачев ее всюду с собой брал. Так понимаю, шибко гордился ею.

— И мне ее страсть как жалко! — вздохнула баба Маня. — За что ей такие мучения? Одно женщину должно утешать, что муж рядом, поддерживает любовь своей. В одиночестве болеть — ой, не сладко!

— Почему это в одиночестве? — обиделась Серафима. — А мой догляд ты в расчет не берешь?

— Да что ты, Серафима! Я тебе век благодарна буду, — поспешила заверить соседку баба Маня. — Я ж о мужниной ласке сказала. Был бы рядом сейчас мой Иван, мне куда легче было б.

— Да, Иван Савельевич уважительно к тебе относился, — подтвердила Серафима и добавила сокрушенно. — А вот мой Павел, заболей я, так и стакана воды не подаст.

Повздыхали еще обе, поохали, припомнили всякие пакости, которые терпят женщины от мужиков деревенских бесчувственных, Михаила Сергеевича похвалили за супружескую преданность. Считай, полчаса проговорили. И разговор этот был не в тягость бабе Мане. Видать, козье молочко сил прибавило.

На следующий день, когда Серафима с работы зашла, чуть не с порога вопрос: как здоровье Раисы Максимовны?

На заводе, сообщила, только о ней и толкуют. Кто раньше и попрекал ее, что, мол, цацу из себя строит, и те смягчились. Женщины, они хоть и любят косточки другим перемыть, а сердцем отходчивы.

— Состояние у нее по-прежнему тяжелое, — с искренней печалью в голосе сказала баба Маня. — Как

болезнь называется, я не запомнила, а только кровь у Раисы Максимовны испорченная. Вроде моей. Меня-то, я так посчитала, это Чернобыль достал.

— Какой Чернобыль? Ты что, баба Маня, придумала? — удивилась Серафима. — Мы от него за тыщу километров!

— Так я в тот день, когда Чернобыль взорвался, у племяша Алешки гостевала в Брянской области, — объяснила баба Маня. — А их райцентр, потом установили, тоже в опасной зоне находился. Народу ведь правду об этом Чернобыле не сразу открыли, только после майских праздников. А на Май я уж домой возвернулась.

— Да, вроде, ты никогда и не жаловалась, — чуть ли не с укоризной протянула Серафима. — А теперь вот, здрастье-пожалуйста — Чернобыль!

— Так не жаловалась, потому что ничего не болело, — оправдываясь, сказала баба Маня и стала вслух припоминать. — Когда это я в последний раз кровь проверяла? Лет шесть будет. Иван еще был жив. В госпитале областном его навещала. Он и попросил сестрицу в ихней лаборатории, чтоб и у меня анализ взяла, шоколадку ей подарил. Хорошая девушка попалась, отзывчивая. Спасибо, говорит, Иван Савельевич за шоколадку, но, хоть и не положено, а я и так бы вашу просьбу исполнила из уважения к фронтовику-инвалиду Великой Отечественной войны.

— Тогда ветеранам больше было почета, — вставила свое слово Серафима.

— Ну, нет, — не согласилась баба Маня, — и тогда уже к ветеранам относиться хуже стали. Это просто девушка оказалось сердобольной. Может, тоже дед у нее

воевал, отец — навряд ли, уж больно молоденькая она была. На другой день я к Ивану иду, она меня, как увидела, подбежала, улыбается и радостно сообщает: у вас, бабушка, кровяные показатели в абсолютной норме. И что в абсолютной, еще раз повторила. Но, видать, этот Чернобыль проклятый не на всех сразу сказался. У меня организм крепкий с молодости, в жизни ничем не болела, всего два зуба выдернула, вот он и сопротивлялся, пока старость окончательно не наступила.

— Да какие твои годы! — задорно, чтоб подбодрить больную, воскликнула Серафима.

— А такие, что уже и не упомяну, когда бабой Маней стали величать, — печально улыбнулась баба Маня.

— А чего тут помнить? — рассудительно проговорила Серафима. — Как внучат вам Ирина народила, так и стали вы бабушкой.

— Вот ты про внучат напомнила, — оживилась баба Маня, — а я ж тебе еще не сказала, что к Раисе Максимовне дочка с зятем и внучками приехали. Михаил Сергеевич с корреспондентом беседовал, отметил, что это будет жене большая моральная поддержка. А ведь на четверых сколько ж расходов, дорога, чай, за границу больших денежек стоит! Вон мои в Ростовской области живут, ехать к нам сутки, а на автобус подгадаешь, и того меньше, а третий год уже никак не выберутся меня навестить.

— А чего так? — спросила Серафима, хотя и догадывалась, какой ответ последует.

— Я ведь тебе уж печалилась про их бедствования, — с укоризной взглянула на нее баба Маня. — Сергееву

шахту еще зимой закрыли. Иринка одна теперь добытчица.

Только, писала, и в их жилищной конторе не всегда вовремя зарплату выдают. Она еще кофточки и носки вяжет для продажи, да на них покупателей не шибко, сейчас везде страсть как много шмоток заграничных. А те сбережения, что откладывали, когда у Сергея заработок был хороший, они цену свою раза в три потеряли. Рубль стал, как пух — в руках не удержишь. Старший Валерка в последний класс пойдет, разумный паренек, на одни пятерки учился. Родители мечтают, чтоб он в институт пошел. Туда же поступить, Ирина написала, надо дополнительных учителей нанимать за немалые денежки. А Ванюшка, хоть и на год младше брата, ростом его перегнал, так что ни братнина, ни отцова одежка ему не годится, и костюмчик, и курточку и рубашки для него отдельно пришлось покупать. Вот и считают они каждую копейку, с хлеба на воду перебиваются. Хорошо, если дочка на похороны мои приедет, а уж все скопом они точно не выберутся.

— Ох, баба Маня, надоели мне твои зауспокойные речи! — в сердцах выкрикнула Серафима и, даже не попрощавшись, ушла.

На следующее утро соседка побыла у бабы Мани от силы минут десять. Курам пшена насыпала, яички сварила — одно на завтрак, два на обед, хлебца свежего — с собой принесла — нарезала, еще две помидорины из своего парника — крупные, наливные — присовокупила, наказала все это съесть. А больше молчала. Баба Маня и не пыталась ее разговорить, потому как рассуждала про себя: или по пьяной лавочке крепко оби-

дел жену Павел, — он, как переберет, совсем дурным становится, — или, может, стала уже в тягость Серафиме немощная старуха.

Только зря баба Маня на соседку грешила. Вечером заявила она в добром настроении, улыбочивая, с обычными шутками-прибаутками. В комнате споро прибралась, постель поправила, подушки взбила, усадила поудобнее бабу Маню, пальцем, будто и впрямь сердится, погрозила: «Держи хвост пистолетом, скоро гости дорогие придут!»

Гости дорогие — Татьяна Вахромеева да Наташа Молчунья — не заставили себя ждать. Заявились вместе, видно, заранее сговорились. Татьяна бидончик молочка от своей Розки принесла и еще кулечек печенья рассыпного, а Молчунья два мешочка с травами. В одном, розовой ленточкой перевязанном, травы для утренней заварки — две чайные ложки на стакан кипятка, в другом, с синей ленточкой, вечерняя заварка в той же пропорции. «Дай настояться десять минут и пей натощак перед завтраком и ужином мелкими глотками», — объяснила Наташа и потом за весь вечер пары слов не сказала, даром что ли Молчуньей прозвали.

А что Татьяна, что Серафима любят поболтать. Обычно разное у них понимание жизненных событий, а вот зашел разговор о болезни жены Горбачева, они в полном согласии оказались в своей к ней жалости. Татьяна, так та, говорит, даже заплакала, когда новость печальную услышала, а Серафима, баба Маня не даст соврать, хоть и без слез обошлась, но всем сердцем переживает. Наташа тоже головой кивала сочувственно. Сошлись женщины и на том, что болезнь приключилась

по непонятной причине, потому как и питание в семье Горбачевых, безусловно, хорошее, и никакой тяжелой работы Раиса Максимовна, Бог миловал, не исполняла, и на курортах, известное дело, отдыхала регулярно. Конечно, высказала предположение Татьяна, могли сказать переживания от того, что Горбачева с поста президентского скинули, но тут Серафима не согласилась. Это, мол, во-первых, давно было, а во-вторых, такие переживания нервные расстройства вызывают, а если кровь испортилась, скорее всего, радиация виновата. Может, какое облачко с того Чернобыля и до Кремля долетело.

— Все под Богом ходим, — коротко заключила Молчунья.

После этих справедливых слов примолкли женщины, задумались, и тут стук в дверь. Андрей Валенок пожаловал. В руках пакет объемистый. Протянул его бабе Мане, во весь рот улыбнулся:

— Это вам, Мария Никаноровна, сувенир. Пользуйтесь на здоровье!

— А чего в пакете-то? — не удержалась Татьяна от любопытства.

— Все-то тебе надо знать! — усмехнулась осуждающе Серафима. — Ночной горшок там, вот что. — Взяла пакет из рук Валенка и быстренько под кровать засунула.

Андрей, мужчина уважительный, с каждой за ручку поздоровался, усадил свое большое кряжистое тело удобнее на стуле, оглядел всех внимательно, нахмурился:

— Чего это, женщины-гражданки, у вас кислые физиологии?

— Да повода особого для веселья нету, — первой откликнулась Серафима. — Как раз перед твоим приходом про болезнь Раисы Максимовны толковали. Жалко ее, бедняжку.

— Ну нет слов! — выдохнул Валенок. — Далась вам эта Раиса Максимовна!

— А как же!? — изумилась Серафима, — Весь народ ее жалеет. По телевизору каждый день о ней говорят.

— Мало ли что там болтают! — с непонятной для женщин злостью бросил Валенок. — Ну, заболела у Горбачева жена, чего об этом трубить-то? У меня, лично, к бабе Мане сочувствия больше.

— Спасибо, Андрюша! — тихо подала голос баба Маня. — Только неправый ты. Я твою жалость заслужила, подружек моих дорогих, сродственников, а о Раисе Максимовне, поди, вся страна печалится.

— Вот это мне и непонятно! — вся та же злость прозвучала в голосе Валенка. — За какие такие заслуги о ней горевать, чего такого особенного она сделала, чтобы весь народ о ней скорбел?!

— Да, раз по телевизору нам про нее напоминают, — вступила в разговор Татьяна, — значит, заслужила она такого внимания и сочувствия. На Останкинской башне, небось, не глупее тебя люди сидят.

— Ну, а чего конкретно за вашей Раисой Максимовной водится, какие добрые дела? — не унимался Валенок. — Вот с Марией Никаноровной мне все ясно. С военных лет, еще девчонкой руки начала мозолить.

Дояркип труд, сами знаете, какой! Ни свет, ни заря — вставай! На ферму зимой по морозу, осенью по грязи полтора километра гопать, а летом на дневную дойку на Сараскин луг так и все пять. А двадцать коров выдоить вручную — легко ли? «Елочку-то» у нас в году восьмидесятом только установили.

— В семьдесят восьмом, — поправила баба Маня. — А коровушек за мной, бывало, и по тридцать закрепляли.

— О том и речь! — совсем уж вошел в раж Валенок. — Мария Никаноровна за свою трудовую жизнь столько молока надоила, что, если не каждому жителю Москвы, то уж нашей области точно досталось по кружечке. Помню, Ирка ваша в класс приходила с газетой, хвасталась: «Моя мама снова первая в районе по надоям!»... Вот кого жалеть надо! А вы раскудахтались: «Ох, Раиса Максимовна! Ах, Раиса Максимовна!» А она руки свои к чему приложила? Разве, что плешь муженьку гладила! Вот, если бы она, когда он глупости со страной творил, поварешкой его по башке шваркнула, вот тогда б я ее зауважал, и сейчас вместе с вами за нее переживал бы.

Серафима с Татьяной, не говоря уже о Молчунье, сидели, языки прикусивши, но по недовольным их лицам видно было, что не согласны они с такой грубой позицией.

— Ты на нас не серчай, Андрюша, — примирительно заговорила баба Маня. — Какие добрые дела за Раисой Максимовной водятся, мы, конечно, не знаем, да только, чтоб человека болящего пожалеть, разве нужно особое знание? Вот у меня к ней такая жалость, как бывает, когда песню печальную поешь про ямщика, кото-

рый в степи замерзает. Я ж не знаю, что за человек он был. Может, выпивал крепко, может, руку на жену поднимал, может, и почище за ним грехи водились, а вот жалко его и все. А жалость, Андрюша, она ведь сердце смягчает. Батюшка тут по телевизору выступал, сказал, что это чувство Богу угодное. Православный человек, он всегда жалостливым был.

— Эх, чего с вами толковать?! — досадливо крикнул Валенок, вставая со стула. — Вам теперь ящик вместо головы. — Он кивнул на телевизор. — Ну, бывайте, женщины-гражданки! Я пойду, пожалуй, а то еще наговорю чего обидного.

И снова каждой ручку пожал. Мол, хоть и разные у нас понятия, а желаю остаться с вами в добрых отношениях...

— Чего это он, как с цепи сорвался?! — недоуменно воскликнула Татьяна Вахромеева, как только дверь за ним затворилась.

— Да, неприятности у него очередные, — вздохнула Серафима. — Какой-то налог на них снова повышают, а он со старыми долгами еще не расплатился. Банк грозит все имущество описать. Ему тогда хоть в петлю!

— А поначалу-то как хорошо дело у него ладилось! — прицокнула языком Татьяна. — В фермеры ведь он у нас одним из первых в районе подался. На съезд ихний в область ездил. Там и трактор этот маленький, считай, почти задарма ему дали как зачинщику.

— Зачинателю, — уточнила Серафима. — Первые два года он и впрямь неплохо хозяйствовал. Мужик, видели, какой здоровенный, чуть стул под ним не обрушился. И работающий, и выпивать себе позволяет только

на Покров, Рождество и Пасху, да на два майских праздника. Не то, что мой паразит. И дети у него к труду приучены, что сыновья, что дочка. О Галине и не говорю — и домашнее хозяйство на ней, и всю семью сама обшивает. А разладилось у Андрея полтора года назад, как старшего Дмитрия в армию призвали.

— Это, когда он взамен Димы Саньку что ли Еремина нанял? — перебила Татьяна Вахромеева, которую, никак не устраивало, что Серафима весь разговор взяла на себя.

— Его самого! — Серафима скривилась, будто чего кислого съела. — Нашел себе помощничка! Санька два дня только смирял себя, а на третий напился и телятник спалил.

— Да нет, он вроде целую неделю отработал, — возразила Татьяна.

— Два дня, неделя — не один хрен! — вскипела Серафима. — Тебе бы только поперек выступить. Тут уж не будешь спорить, что половина бычков обгорела, и пришлось их не откормленных под нож пустить? Вот и пошли убытки.

— А мог Валенок и без убытков быть, — поджала губки Татьяна. — Подал бы в суд на Санька.

— А чего с Санька возьмешь? — усмехнулась Серафима. — С пропойцы голоштанного? Дал ему Валенок пару раз по морде, вот и весь суд. Надо было знать, кого в помощники берешь. Валенок он и есть валенок. В точности соответствует своей фамилии. И откуда она такая чудная в их семействе взялась?

— Да от прадеда, — подсказала баба Маня. — Валенки тот катал, вот и получил свое прозвище, а потом и

в паспорт так записали. А что простодушный Андрей, доверчивый, это уж точно. Сегодняшней его злости я такое вижу, женщины, объяснение. Поверил мужик в эту самую перестройку, что Горбачев обещал, а вышел из нее пшик.

— Нечего его защищать! — рассердилась не на шутку Серафима. — Ну и злился бы на Горбачева, а чего на Раису Максимовну зло-то переносить?!

— Муж и жена — одна сатана, — неожиданно и совсем невпопад тихо проговорила Наташа Молчунья...

Через неделю заграничный врач, лечащий Раису Максимовну Горбачеву, сказал по телевизору, что состояние ее здоровья заметно улучшилось. Бабе Мане тоже полегчало. Она даже на крылечко стала выходить на солнышке погреться. И руки уже по работе заскучали. Значит, дело пошло на поправку.

пос. Заветы Ильича, 21-31 августа, 1999 г. Москва,
20 сентября, 1999 г.

P.S. Мария Никаноровна Лаптева и Раиса Максимовна Горбачева скончались в один день, 1999 года. Пусть земля им будет пухом.

Автор

РАЙ

Старика Вострухина младший сын Алешка определил умирать в областную больницу. Конечно, по хорошему полагалось бы распроститься с жизнью в родной деревне, там, где и на свет Божий появился. Но Алешка решил заботу проявить, да и не хотел, видно, лишних пересудов: вот, мол, детки пошли, бросают родителей подыхать, как собак бездомных. И то, в последнее время старик обиходить себя уже не мог, ноги совсем отказали. Здешний врач вчера объяснил, что так бывает по причине злоупотребительного многолетнего курения, но сам он считает, что настоящая причина, конечно, другая, которую от него скрывают, а это сказано было просто для успокоения. Если б от курения смерть приходила, то врач бы, небось, сам не курил, а то вон все время с сигареткой во рту.

Правильно Алешка его сюда приволок. Дома он бобылем живет, без всякого догляду. Соседей фактически нет. Их Синцово только называется деревней, а жительствоуют здесь теперь одни дачники. Да и они исключительно летом наезжают, а сейчас две избы справа от него — покойного Федота Шубина да переехавшей к дочке в Москву Маруси Селивановой стоят под замками, а слева вообще пустырь — землю откупили какие-то городские ушлые ребята, четыре избы уже снесли и по весне начнут возводить тут себе хоромы. Захаживал его проведывать, конечно, Иван Егорыч, но не так, чтобы часто. Старый приятель на другом конце деревни живет и корову еще держит и двух поросят откармливает, так

что напрасные лясы точить времени у него нету. В общем, помер бы и никто б не хватился. И лежал бы, тухнул, что хорошего? А то б еще кот Васька нос отгрыз. Слышал, такие случаи бывают, когда у одиноких покойников домашние животные лицо объедают.

Алешка, добрая душа, не бросил кота бродяжничать, взял к себе. Мыши, говорит, обнаружались. Тоже недоразумение времени. Дом кирпичный, третий этаж, откуда там мышам взяться, а вот поди ж ты! Теперь-то у Васьки почнется райская жизнь. Мыши мышами, а и колбаски ему, небось, перепадать будет и молочка с творожком. Нынче в городе с продуктами хорошо, не то, что в прежние годы, когда он сынкам то картошечки приволокет по рюкзачку, а если кабанчика зарежет, то и мяса с салом по полпудика каждому. А заработки у Алешки, хвалился, на зависть другим. В сравнение не идут с теми, когда в обкомовском гараже работал. Сейчас, ишь, личный шофер-телохранитель директора банка! Это по теперешним временам почище любого прежнего партийного начальника.

Вот когда о Васькиной райской жизни подумал старик Вострухин, тут и повернулись его мысли на собственное посмертное существование. Утром приходили к ним в палату две бабенки, все в черном, наверно, монашки. Обличьем вроде бы корейской нации, но не нашей, а иностранной, по-русски больно плохо говорили. Больных четверо в палате, так они положили каждому на тумбочку по книжечке, в которых рассказывается о заповедях Божьих, советы даются, как правильную жизнь вести. А аккурат напротив его кровати, где однорукий Григорий Степанович лежит, прикрепили в изго-

ловье ему икону. Только не такую, как наши, а без всякого оклада, просто, можно сказать, красивую цветную картинку, но божественного смысла. На картинке такое изображение. Идут три старика в длинных красных одеждах, над головами золотые обручи, значит, святые. Идут по саду, потому как нарисованы на картинке яблони и еще вроде слива. За спиной у святых крутая горка, а на ней дворец из белого камня. Еще сидит на сливе птица с яркими перьями — похоже фазан. А по верхним углам летают в голубом небе два ангелочка с маленькими, как у воробышка, крылышками, только сплошь беленькими. Когда эту иностранную икону монашки вешали, то все лопотали про рай. В раю, значит, эти старики обитают. Сподобились за праведную жизнь.

Все в палате давно уже спят, а старик Вострухин глаза в потолок пялит и прикидывает, куда его после смерти определят. По раскладу получается, что тоже в рай должен попасть. Для этого у него такие имеются резоны.

Во-первых, заповедано Богом человеку добывать хлеб насущный в поте лица своего. Тут у него полный порядок. Поту за жизнь немало пролил. Считаю, с двенадцати лет в колхозе ишачил. Перед войной на шофера выучился. По фронтовым дорогам четыре года рулил, а после победы по той же специальности еще сорок три года отбухал. Окончательный расчет получил, шутка сказать, в 68 лет. Медаль «За трудовую доблесть» задарма не давали, а в добавок в районной газетке пропечатали про него пять похвальных заметок, и на колхозной Доске Почета висел, пока не выцвел весь.

Другая главная заповедь — «не убий». Тут тоже не должно быть замечаний. Он и дрался-то только ребя-тенком, да раз по пьянке с тем же Иваном Егорычем, но помирились на другой же день, без всяких претензий друг к дружке. А на войне, хоть и прошел ее от первого дня до победного салюта, не то, что убить, даже ни од-ного выстрела не сделал — все баранку крутил. Два го-да на полуторке снаряды доставлял к передовой, потом командира дивизии возил. Сначала на «эмке», а уж в Польшу вошли — на «виллисе».

Что в войне участвовал, это ему большой плюс. «Защита Отечества — святое дело» — поучал их, ново-бранцев, в июне сорок первого политрук. А лет десять назад, когда у сыновей гостил, зашел в церковь, с та-мошним попом разговорился и тот подтвердил, что правильная была у политрука формулировка. А еще давным-давно, добавил батюшка, князь Александр Нев-ский сказал, что, если кто на Русь с мечом сунется, тот от меча и погибнет. И за то, что врагов Земли Русской истреблял нещадно был причислен князь к лику святых. Словом, как ни поверни, а с этой заповедью старику подфартило. Самолично ни одного немца не убил, а с другой стороны посмотреть — сколько их, поганцев, от-правили на тот свет снаряды, которые перевозил еф-рейтор Вострухин!

Теперь, что касаето заповеди «не укради». Ну, мальчишеское озорство, когда по чужим садам лазили, знамо дело, в расчет приниматься не будет. А вот, что в сорок восьмом соблазнил его комбайнер Серега Колу-паев мешок колхозной пшенички упереть, а потом они его поровну разделили, тут он, конечно, грешен. Но,

может, на Божьем суде скидку сделают, что зачинщиком-то Серега был. И другое есть смягчающее обстоятельство: Пашка, старшой его сын, болел тогда сильно и нуждался в подкормке, да и Лизавета только народилась, боялись они с женой, что с голодухи материнское молоко пропадет. Серега-то вскорости помер, сгорел от самогонки, так что про ту кражу никому до сих пор неизвестно, вроде ее и не было. А уж страху он тогда потерпелся, не приведи Господи! Если б кто стукнул, считай, лет десять Колымы было бы обеспечено. Этот страх тоже можно зачесть в искупление вины. Тем более он тогда самому себе зарок дал, на чужое никогда не зариться, даже если оно плохо лежит. И этого самовольного обещания ни разу потом не нарушил.

Следующая заповедь о почитании родителей. Отец помер, когда ему только пять лет было. Тут вопрос отпадает. Ну, а к матери он всегда относился с заботой и почтением. У любого в деревне спроси, подтвердят. Жене строго наказывал, чтобы она мать ослобоняла от тяжелой домашней работы, на себя ее брала. А могилки родительские, теперь там рядышком и жена, и брат Николай лежат, содержал в порядке, не допускал, чтобы бурьян там вырос. Оградку железную по смерти матери в шестидесятом году поставил и подкрашивал ее регулярно, чтоб ржавчина не поела. Сначала в серебристый цвет, хоть и был тот много лет в дефиците, на лапу приходилось давать продавщице хозмага, а последние годы — в черный. Алешка-сын убедил, что для кладбища он более подходящий.

Конечно, посложней будет разобраться насчет супружеских обязанностей. Кобелем он никогда не был и

верность своей Валентине Кузьминичне, царствие ей небесное, в принципе блюл. Но некоторые обстоятельства в этом плане все же имеются. Что с Фроськой Парамоновой сношался — это еще до женитьбы, значит, и греха особого тут нет. А вот в сорок седьмом сошелся с Ларисой Куркиной, она в райцентре на почте работала, за это, наверно, будет спрос. Как в райцентр доводилось ехать, к ней непременно заглядывал. С год, не меньше, такое их сожителство продолжалось. Как тут оправдываться? Лариса вдовая была, бездетная, мужа на войне убило. Баба она была душевная, добрая, но обличьем малость не удалась, мужики на нее не больно-то зарились. Так что, он, можно сказать, просто пожалел женщину. Потом, конечно, совесть перед женой заела, тем более, уже совместно троих нарожали. Когда с Ларисой окончательно прощевались, она ему спасибо даже сказала за то, что обогревал ее одиночество.

Был еще единичный случай с Веркой Коноплевой. На дальние покосы они ездили стога метать. До захода солнца не управились, заночевали там. А ночь холодная, росная выдалась. Верка и притулилась к нему согреться. Грелись, грелись да и разогрелись. Ну, а последний случай с Марусей Селивановой, так рассудить, тут его вины фактически нет. Это уж ему шестьдесят стукнуло. Сыновья давно уже в городе жили, дочку после института вообще в Красноярск занесло. Валентина поехала ее проведать, он один остался. В субботу, как положено, истопил баньку, после нее принял граммов триста и спать уже собрался ложиться, как тут соседка пожаловала. Тоже уж не девушка была, к пятидесяти

подбиралась. Видела, говорит, ты баньку наладил, после нее по обычаю стопочку опрокинуть надо, а вдруг, думаю, у тебя нет ничего, в сельпо водку давно не завозили, а у меня бутылочка припасена, чего не порадовать соседа? Ну, естественно, он отказать не мог, выпили ее бутылочку, а потом на кровать она его повалила, и побезобразничали они немножко. Словом, можно сказать, она силком его взяла. Вот и все прегрешения по женской линии. Получается всего ничего.

Чтобы считать жизнь правильно прожитой, полагается еще человеку дом построить, посадить дерево и детей воспитать. По всем этим позициям у него полный ажур. Избу сам складывал в пятьдесят четвертом. Как Маленков дал послабку крестьянам, он и затеял строительство. Брат Николай, правда, подсоблял и Иван Егорыч присоединился, так и они, когда строились, он тоже первейшее участие принимал. Сложить, получится, как раз целый дом единолично поставил. А сколько деревьев он за жизнь пересажал! Одних яблонь десятка три, не меньше. А еще груш, слив, плодовых кустарников разных. Теперь взять детей. Всех троих они с матерью в люди вывели.

Павел на инженера выучился, всегда в почете был, награждался за свои изобретения. Правда, сейчас его завод закрыть собираются, зарплату уже три месяца не выдают. Но Алешка, пока старшой новую работу не подыщет, помогает материально. А сам Алешка по отцовской линии пошел — шоферит. У него все путем. Живет в достатке, любви и спокойствии. Невестка Любаша свекру всегда исключительное уважение оказывает. К семидесятилетию сыновья ему костюм подарили, знает

— по ее настоянию. В нем и в гробу не стыдно будет лежать — практически не надеванный, только на День Победы два раза в него облачался. Детишки Алешкины, следовательно, его внучата Максимка и Андрюшка, разумные ребята, не балованные. Когда на лето в деревню к деду с бабкой их отправляли, в огороде — первые помощники, воды для полива натаскать — без откazu, а дровишек поколоть — им даже в удовольствие. Дочь Лизавета далеко забралась, но письма шлет отцу аккуратно. У нее детишек не получилось, но с мужем, пишет, живет в согласии, а может, успокаивает.

А вот в чем грешен, в том грешен — церковь редко посещал и Великого поста совсем не соблюдал. Насчет церкви такое объяснение. Их деревенскую еще в Гражданскую спалили, а в городе, когда у сыновей гостевал, поначалу сомневался в церковь захаживать, потому как на молящихся посматривали тогда косо, тот же Иван Егорыч первым бы его и осудил. А как стало к религии правильное отношение, он при каждом приезде к детям обязательно церковь посещал и свечку ставил Богородице, заступнице всех русских людей. Ну, а вместо Великого поста может можно ему зачесть голодные тридцать второй, да тридцать третий, да сорок шестой с сорок седьмым. Вот и выйдет так на так. А еще покойница мать говорила: не тот грех, сынок, что в рот, а тот, что изо рта. Понимай, мол, что нельзя обижать людей злым словом, сплетничать и пересудничать. В этом плане, кто знал его, не дадут соврать, к нему трудно будет придраться...

Старик Вострухин стал припоминать, не упустил ли он из вида каких других важных заповедей, но получа-

лось, вроде бы все учел. Поинтересоваться бы у Григория Степановича, тот, хоть и однорукий, а на вид грамотный, может, чего подсказал бы еще, да больно крепко он спит, еще осерчает, если разбудишь. Соседний с ним Рустем Алиевич — явно мусульманской веры, у них понятия другие. А рядышком парнишка посапывает, Костиком назвался, так у этого шелапута и спрашивать о чем-нибудь серьезном бестолку, по всему виду, кроме озорства, ничего путного у него в голове нет.

Решив, что место в раю ему полагается, если, конечно, подойдут к нему на Божьем суде без придинок по пустякам, старик Вострухин стал прикидывать, как ему следует устроить гам свою дальнейшую загробную жизнь. Тот же Иван Егорыч, даром что коммунистом был, а религией интересовался. Жизнь в раю, по его понятию, и в церковных книгах фактически так отписано, это когда исполняются все желания вознесшейся души. Конечно, не какие-нибудь пакостные, вроде блуда или пьянства, а исключительно чистые, добрые, одним словом, положительные.

Прежде всего, надо будет определиться с жильем. Такой дворец, как на иностранной иконке, ему ни к чему, но желательно, чтоб дом был получше своего деревенского, и чтоб крыша была покрыта не оцинкованным железом, а черепицей — очень ему нравится этот материал. Скотины много не надо — корову удойную, поросенка да с десяток курочек. Когда Васька помрет, хорошо бы икота к нему определить. Хоть сил у него в раю, наверно, прибудет, но для огорода достаточно шести соток, а то и четырех, чтоб не очень горбатиться. Само

собой, чтоб удобрений всегда было в достатке, особенно навоза.

В общем и целом хозяйство так должно быть устроено, чтоб работать в охотку и чтоб оставалось время и для исполнения добрых желаний. По субботам, как у него было заведено, — банька. Обязательно с веничками — дубовым, березовым и хорошо бы еще можжевельным — на земле-то это деревце почти совсем извели. После баньки, если ничего крепкого в раю категорически не положено, чтоб был квасок. Покойница жена умела его приготовить — ядреный, на хренку, в погребе остуженный. Вот уж истинное убажнение души. Конечно, если в раю семьи, которые счастливо жили, соединяются снова, то с кваском никаких проблем не будет.

Пожалуй, второе душевное желание — рыбалка. Хорошо, чтоб рядом и речка и озеро были. В речке щуку, сома половить, окуньков, ну, а в озере — карасей. И чтоб без улова никогда не уходить. Пусть хоть пять плотвичек да пять пескариков попадутся на крючок обязательно. А, скажем, на каждой десятой рыбалке — если чаще, интерес быстро пропадет — вытаскивать полупудового сома или щуку ростом от земли до брючного ремня.

Третье желание — походить за грибами. Чтоб в один день набрать, к примеру, корзину белых, в другой — подосиновиков с подберезовиками, в третий — найти пару нетронутых пеньков с опятами. Ну, и чтоб попадались засолочные грибы — рыжики, грузди, волнушки. Кое-кто брезгует, не берет валуев, а он не поленится и за ними нагнуться. Если этот гриб хорошенько вымочить, да не пожалеть укропчику, чесночку, смородино-

вого листа, да дубовую веточку в кадушку положить — он за милую душу пойдет и под стопочку и просто с картошечкой отварной.

Старик Вострухин даже крякнул тихонечко и перешел к последнему желанию, о котором ему будет даже неловко просить. В раю вроде песни красивые любят петь, а он еще мальчишкой пуще всего мечтал на гармошке научиться играть. Гармонист — в любой компании первый человек. Однако жизнь так сложилась, что все не до гармошки было. Так вот, хорошо бы, чтобы сбылась эта его детская мечта. А больше никаких других желаний у него нету...

Окно в палате было плохо зашторено, и в просвет между полотнищами заглянула луна и осветила божественную картинку, что висела напротив старика. И ему показалось, что правый ангелочек, похожий на внучонка Андрюшку, когда тому было три года, улыбнулся и подмигнул: мол, спи, дедуля, спокойно, место в раю тебе уже приготовлено, и все твои желания будут непременно исполнены.

Старик Вострухин улыбнулся в ответ, повернулся на правый бок и сразу заснул. И больше не проснулся.

Рязань, октябрь, 1998 г., Москва, май, 1999 г.

КТО-ТО УМЕР

Вечером, он уже протопил печку, отужинал, сидел читал книжку, постучала в дверь соседка с дачи напротив.

— Ой, как у вас тепло! — воскликнула с порога, а потом уже. — Добрый вечер! — И затараторила. — Вам от жены привет. Она мне позвонила, знала, что я еду, просила заглянуть к вам, посмотреть, как вы тут переносите эту холодрыгу, хватило ли наколотых дров, а то ведь вам с вашей стенокардией махать топором нельзя.

— Спасибо, все нормально, — ответил он сухо. — Дров еще на неделю хватит, как минимум.

Он недолюбливал эту соседку. Пышнотелая большеглазая крашенная блондинка, чуть за сорок, считающая себя неотразимой. Как же, уже по третьему или четвертому разу замужем! Она приехала откуда-то из провинции, довольно быстро освоилась в Москве, завела свой бизнес, но, видно, некрупный, потому как купила стандартный участок в шесть соток в их скромном садовом товариществе за сотню верст от столицы, в то время как настоящие крутые бизнесмены возводят себе замки из красного кирпича. Правда, машина у нее имелась. Какая-то подержанная иномарка. Он в машинах совсем не разбирался. Мог разве что «москвич» отличить. У сына тот был. Впрочем, почему был? Он и сейчас есть. Правда, ездить на нем нельзя. В позапрошлом году сын попал в аварию, сам отделался царапинами, а машину здорово покалечил. На ремонт денег никак не наскребет. На зарплату инженера не больно разгуля-

ешься. Невестка вообще библиотекарем работает, ее полочки хватает фактически лишь на проездной билет да еще за квартиру заплатить.

Зарядившие неделю назад дожди раньше обычного закрыли дачный сезон. Он да сторож остались в поселке. Жена затеяла ремонт, а паркетчик пол отциклевал, но лаком не успел покрыть, запой у него начался, полмесяца как не просыхает. Вот и вынужден он торчать здесь в эту мокрядь. Соседка, та через день другой сюда наезжает, чтобы проконтролировать, как идет сооружение камина. Облагораживает типовой садовый домик эпохи раннего Застоя. С его женой у нее нормальные отношения. Жена умеет ладить с людьми, не то, что он. Нынче принято подобных ему некокоммуникабельными называть, а по-русски, значит, бирюк. Вот и сейчас понимает, что надо бы предложить даме присесть, а то и чайком угостить, как требуют правила хорошего тона, он же сидит, насупившись, как сыч, и по лицу, наверное, нетрудно прочитать: «И чего ты, милая, приперлась и когда, наконец, уберешься?».

Соседка, видно, догадалась, что ее визит ему в тягость, улыбнулась смущенно:

— Ну, раз у вас все нормально, я так вашей жене и передам. Никаких поручений ей не будет?

— Нет, спасибо, никаких, — буркнул он.

— Ну, я тогда пошла, — соседка взялась было уже за ручку двери, но неожиданно обернулась и, почему-то понизив голос, произнесла. — Вы уж извините, жена ваша колебалась, стоит ли вам сообщать об этом. — Она сделала небольшую паузу и почти перешла на шепот. — У вас кто-то из товарищей умер.

— Что-что? — переспросил он, не сразу осознав смысл услышанных слов.

— Товарищ ваш какой-то скончался, — уже в полный голос заговорила соседка. — Сегодня были похороны. Жене вашей об этом поздно сообщили, только вчера вечером. Так что вас известить у нее не было никакой возможности. Но, может, это и лучше, сказала она, с вашим здоровьем на такие мероприятия ходить вредно.

— Пойдите, пойдите! — заволновался он. — А жена сказала, кто умер-то?

— Нет, — пожала плечами соседка. — Когда она звонила, ее голос мне показался грустным. Я спросила, чего это у вас такой грустный голос. Она и сказала, что умер ваш товарищ, сегодня были похороны. И добавила еще, что это, может, и лучше, что ей поздно сообщили, и у нее не было никакой возможности вас известить, а то б вы сорвались отсюда, а вам с вашим сердцем лишние волнения совершенно ни к чему.

— Почему же она не сказала, кто умер? — Этот вопрос он адресовал самому себе, но произнес его вслух, и соседка поспешила ответить:

— Так она ж не хотела вас понапрасну тревожить. На похороны-то вы все равно уже опоздали. А я не стала ее спрашивать, кто конкретно покойник. Я ж никого из ваших друзей не знаю. Жена приедет в пятницу, расскажет вам все подробности. Если б похороны завтра были, и вам бы захотелось на них присутствовать, я бы, конечно, подбросила вас до Москвы. Только без собаки. На сутки заперли б ее здесь, ничего б с ней не случилось.

Он сидел, обхватив голову руками, и тупо смотрел в пол.

«Какая же ты дура! Господи, какая дура!» — было дикое желание выкрикнуть эти слова. Но он сдержался и вместо этих справедливых слов выдал банальную фразу:

— Снаряды рвутся рядом.

— Ой, кажется, вы расстроились?! Ой, зря я, наверное, вам про эти похороны сказала! — скоротила виноватую гримасу соседка. — Да вы уж так не убивайтесь! Все под Богом ходим. А еще думаю, это я так поняла, что товарищ у вас умер, а жена ваша говорила, вроде, про знакомого. Просто знакомого. Это ж совсем другое дело, правда?!

Она выпучила на него свои глупые телячьи глаза, ожидая, что он согласится с ее резонном.

— Да, да, конечно, — машинально проговорил он. Сейчас у него было только одно желание, чтобы соседка побыстрее исчезла с глаз долой.

«Боже, какая же ты дура! — повторял он про себя. — Какая дура!».

Наконец она ушла, и он остался один. Не считая, разумеется, собаки. Топаз лежал у его ног, изредка поглядывал вопрошающе, мол, чего это ты, хозяин, загрустил, я же рядом, и мы оба сыты и в тепле. Тогда он наклонялся, трепал тихонечко собачий загривок и вздыхал: — Такие, брат, дела. Кто-то умер, а мы и не знаем, кого оплакивать. Правильно ты эту дуру облаял тогда. Это ж надо сообразить: кто-то умер. Как будто в трамвае кто-то на ногу наступил. А кто именно, не все ли равно. Кто-то!

СОДЕРЖАНИЕ

КРЫША	3
ОКТЯБРЕНОК.....	32
УДАЧНЫЙ ДЕНЬ.....	51
КОНТРОЛЕР.....	68
ПОБИРУШКА.....	80
ПАСХАЛЬНЫЕ ЯЙЦА	89
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ.....	100
МОЛИТВА.....	114
СТЫДОБА.....	133
ЖЕЛТЫЙ ТЮЛЬПАН С ЧЕРНЫМ ЛЕПЕСТКОМ.....	147
ЖАЛОСТЬ.....	164
РАЙ	180
КТО-ТО УМЕР.....	191